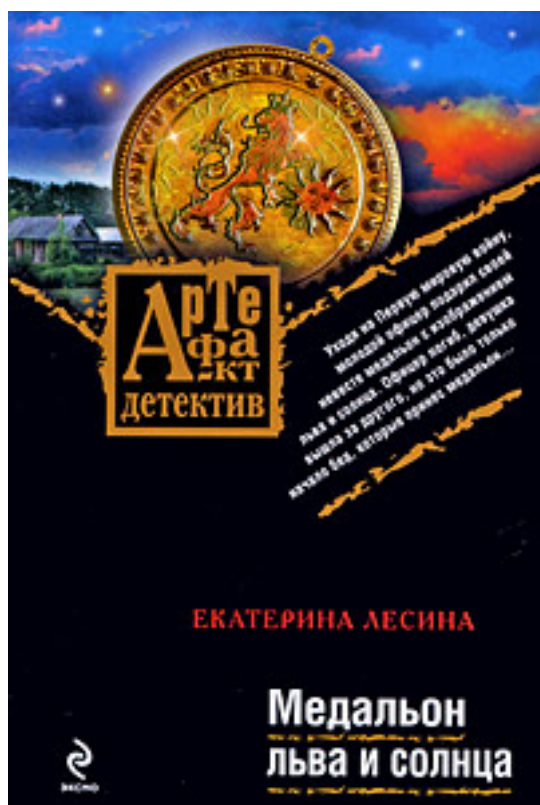




Екатерина Лесина
Медальон льва и солнца
Серия «Артефакт-детектив»

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183404
Медальон льва и солнца: Эксмо; М.: 2009
ISBN 978-5-699-35093-3*

Аннотация

Отправляясь в пансионат «Колдовские сны», обещавший постояльцам тишину и покой, Берта надеялась ненадолго отрешиться от забот и проблем. Внешне жизнь в пансионате вполне соответствовала рекламе, ведь от постояльцев тщательно скрывали, что его владелица недавно погибла странной смертью... А вскоре произошло еще одно преступление – убили чудную художницу, с которой Берта едва успела подружиться. Что же здесь происходит под ширмой благоденствия и комфорта? Возможно, не последнюю роль в этой истории сыграл старинный медальон с изображением льва, держащего в лапах солнце, – кто-то подбросил его в сумочку Берты...

Содержание

Семен	7
Марта	11
Никита	15
Семен	20
Марта	24
Никита	26
Никита	29
Семен	31
Марта	37
Никита	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Екатерина Лесина

Медальон льва и солнца

Я снова видел тебя во сне. Держал за руку, говорил глупости, уже и сам не помню, что именно, но ты смеялась, радостно, светло, и я сам с трудом сдерживал смех. Я был счастлив. А проснулся – все растаяло. Предутренний дым, волглый туман, запах сырой, разрытой земли – красная осклизлая глина вперемешку со стеблями травы, похожими на колтуны, – и плесени, и немых тел, и крови, и гноя. Раненых много, мертвых тоже, но я никогда не напишу тебе об этом, а о чем другом писать, и не знаю.

Этот мир – он существует сам по себе; иногда я начинаю вспоминать, что же было прежде, до того, как я попал на фронт, и вот ведь странность: помню все – людей, события, но они как бы ненастоящие, выдуманные, пришедшие откуда-то издалека. Будто где-то, быть может, на краю мира, имеется другая страна. Там нет войн, нет горя, нет красно-черной земляной утробы, которая с одинаковой жадностью поглощает и зерно, и людей, и снаряды.

Снова не о том, не выходит рассказывать.

Давай лучше напишу о придуманной стране, тебе понравится, ты любишь сказки. И шоколад любишь бельгийский из магазинчика, что рядом с твоим домом. Помнишь? А то, как мы гуляли – ты была такая серьезная, надменная даже? Французская шляпка, шелковые перчатки... А мне к руке прикоснуться хочется, ты же рассказываешь о... опять забыл, с памятью странно получается, точно ее крадет кто.

Утро исчезает, туман осел, расползся по земле ледяной росой, значит, скоро уже. И то сегодня долго тишина стояла, а то бывает, что и ночью ни минуты покоя, стреляют и стреляют... страшно.

Мне не стыдно признаться в страхе, как не стыдно просить – все равно не решусь отправить письмо, а значит, можно сказать все.

Жди меня, милая моя, драгоценная. Умоляю. Жди, не забывай, обереги своей любовью, отведи смерть, подари надежду. И я вернусь, во что бы то ни стало.

Прости, что снова оставил тебя без письма. Сегодня же исправлюсь, обещаю... сегодня же, вечером, я напишу тебе о той стране, где лев оберегает солнце, а солнце согревает льва своим теплом. Твой медальон оттуда, и твоя любовь, и вера моя в то, что мы обязательно будем вместе.

Твой Лев.

Ромашковые солнышки на тонких стебельках дрожат лепестками, покачиваются, переливаются бело-желтым, душистым морем, которое, послушное ветру, то несется вперед, к самой границе леса, то замирает, то откатывается назад.

– Бася! Бася, ты где?! – Тетка остановилась на меже. – Бася! Иди домой!

Не пойду. Не хочу, мне здесь хорошо. Бело-желтые ромашки согласно закивали, а синяя звездочка василька скользнула по щеке. Щекотно. А тетка все не уходит, вглядывается в травяное море, выискивая, выглядывая, набираясь раздражением – даже отсюда его ощущаю, оно пахнет навозом и скользкой, темной колодой, на которой дядька Степан колет дрова и рубит курам головы.

– Баська! Ну погоди ж ты! – Тетка погрозила кулаком и ушла, я же, закрыв глаза, начала мечтать, как однажды уеду в мою страну. И пусть тетка говорит, что такой страны не существует, что я – врушка и бездельница. Я не хочу верить. Тетка глупая и ничего не понимает.

– Не понимает, – зашелестел ветер, подгоняя ромашковые волны к лесу-берегу.

– Не понимает, – прожужжал шмель, скатившись с цветка.

– Да, да, да, не понимает, – прошептали цветы.

На самом деле они не разговаривают, я понимаю, что цветы говорить не могут, и имели, и ветер, я не сумасшедшая, мне просто нравится придумывать. Я придумала целую страну, особую, такую, в которой все счастливы. Разве это сложно – быть счастливым?

По-моему, нет. Особенно когда лежишь, а над тобою небо, яркое-яркое, и облака, как зефирины из коробки – бело-розоватые, пышные, нарядные. Тетка покупает зефир по праздникам – на Новый год, на Восьмое марта и еще на мой или Валькин день рождения, и тогда я тоже счастлива, почти как сейчас.

А солнце на яичный желток похоже. Дядька Степан яичницу любит – он говорит «уважает», но мне странно: как можно уважать еду? Но смотреть, как он ест, интересно. Складывает блин вчетверо, потом протыкает тонкую беловатую пленку, прикрывающую желток, солил и только после этого, когда тягучее содержимое почти уже расплзается по сковородке, мешаясь с жиром, начинает собирать его блином.

От мыслей в животе заурчало, есть захотелось. Домой идти? Тетка ругать станет... а не идти, так все равно станет.

В моей стране никто никогда никого не ругает. Там все счастливы.

– Горе ты мое! – Тетка только вздохнула и вытерла полотенцем руки, красные, распаренные и похожие на распухшие куриные лапы. Но про это говорить нельзя – тетка обидится. – Ну? Где шлялась? Опять на поле?

Киваю, не люблю обманывать, да и незачем, ведь знает же. У тетки блеклые глаза, совсем как засушенные васильки, и светлые реснички – прошлогодняя хвоя. И волосы, желто-белые, из ромашковых нитей выпряденные. Мне хочется думать именно так.

Сегодня на ней синее платье с мелкими полустершимися от частых стирок цветочками и длинный, в пол, фартук с двумя карманами. На левом пуговка оторвалась, а в правый иголка воткнута и белой ниточкой перевязана, чтоб не потерялась. Красная косынка, надвинутая по самые брови, завязана на затылке крупным узлом, и как-то жалко тетку – наверное, узел жмет, давит, вызывает головную боль.

Ненавижу, когда болит голова.

– И что из тебя вырастет-то, а? – Она наливает миску супа, плюхает сверху белый ком сметаны (тоже на облако похож, только тяжелый) и, поставив на стол, говорит: – Ешь давай, и за уроки.

– Спасибо! – Осторожно размешиваю сметану: зеленый суп раскрашивается белыми крупинками, будто снег падает, а длинные космы щавеля – это...

– Ешь, а не балуйся! Опять? – Тетка хмурится и отворачивается. – Вот ведь... придумщица.

Жаль, есть снежный суп интереснее, чем просто щи, тем более кислые и вчерашние. Зато хлеб мягкий, свежий и пахнет хорошо. Вдруг захотелось сказать что-то такое, особенное, чтобы тетка перестала хмуриться и улыбнулась, хотя бы раз в жизни улыбнулась, а еще лучше, чтоб счастливой стала, хоть на секундочку.

В моей стране все должны быть счастливы!

– Тетечка, миленькая! – Я обнимаю, утыкаюсь лицом в грязный, пахнущий кислым молоком и вареной картошкой фартук. – Я тебя так люблю! Очень-очень!

Ну вот, почему она плачет-то?

Вечером, лежа в кровати – Валька сопит, расставила локти, раскинулась, оттесняя меня к самому краю, еще чуть-чуть, и на пол свалюсь, и спать страшно, а вдруг-таки и свалюсь, поэтому и не сплю, слушаю. Голоса в темноте шуршат, как мыши, но мышей Мурча гоняет, а голоса – никто.

– Степ, ну чего? Ну дите ж, ну совсем же... – Это тетка, она близко, за шторкою, шторка белая в синие и красные астры, которые ночью видятся черными пятнами-дырами, и тянет потрогать: а вдруг и вправду дыра. Тогда что на другой стороне? Может, моя страна?

– Степ, ну еще годик... она ж тихая.

Дядька бурчит что-то в ответ, а что, не разобрать. И не хочу. Дядьку Степана побаиваюсь, он не злой, но... другой какой-то, рядом с ним мои мысли о стране вдруг становятся глупыми, и цветы просто цветами, и солнце перестает быть похожим на яичный желток. Или яичный желток на солнце.

– Степ, ну родная ж кровь... подумай.

– Дочка у тебя родная, сама подумай, – неожиданно зло отвечает дядька. А Валька, застонав во сне, переворачивается на другой бок, больно ткнув локтем под бок. – В хате и сейчас не развернуться...

Наступает тишина, мне вдруг становится страшно, а дядька громко, нормально, не боясь разбудить, добавляет:

– Квартиру-то дали уже, чай, не заберут...

Квартира? Да, тетка говорила, что скоро переедем жить в город, он близко уже, на другом берегу реки строят серо-желтые скучные дома. Вот глупость, зачем уезжать? Здесь ведь хорошо, и ромашковое поле есть... ветер катит волны до леса и назад.

Мягкие-мягкие лепестки гладят щеки, губы, щекочут нос... смешные. В моей стране будет много ромашек и совсем не будет скучных домов.

Семен

Русалочьи волосы, длинные, соломенно-золотистые, чуть отливали зеленью. Это из-за водорослей, которые тонкими нитями обвили пряди, скользнули на лицо, полупризрачной сетью осев на бледной коже. Закрытые глаза с неестественно длинными светлыми ресницами, от которых по щекам тянулись длинные полоски-тени. Они двигались, то становясь короче, будто испугавшись солнечных зайчиков, снующих у самой поверхности воды, то, наоборот, удлиняясь, почти касаясь неестественно ярких, будто фломастером нарисованных губ.

– Красивая... – Венька присел у самой кромки воды. Рифленая подошва ботинок промывала песок, и к берегу посыпалась тонкая струйка, прямо на ее пальцы. Ручка-то из воды выходит, уцепилась за коряжину, будто женщина-русалка выбраться желает.

– И как живая, поди ж ты, – Венька с опаскою потрогал руку и тут же ладонь о штаны вытер. – Холодная.

Ну ясное дело, что холодная. И мертвая. Не может живой человек вот так лежать себе спокойненько под водою и не дышать. Синяя стрекоза на миг присела на сочный стебель тростника, замерла, только крылья подрагивали и в крупных фасеточных глазах отражались сразу и облака, и вода, и девушка, и сам Семен тоже, таким размытым желто-бурым пятном. Стрекоза взлетела, стебель качнулся, и по воде пошла легкая рябь, от которой показалось, что лицо девушки скривилось от обиды.

– Убийство, похоже.

– Почему? Может, сама? – спорил Семен только потому, что уж больно не хотелось верить в убийство, ну не вязалось это слово со спокойной, даже заупокойной красотой утопленницы. Но прав Венька, скорее всего, что...

– Ага, сама. Сама голая пришла, сама нырнула, да так, что и не вынырнула. Тут же глубины-то метра полтора, вон, дно как на ладони.

Желто-коричневое, зебрастое, с редкими черными пятнами беззубок, белыми – камней, зелеными – водорослей. У ног женщины суетилась стайка мальков, то тычась в пальцы, то рассыпаясь серебряными искорками, чтобы вернуться.

– Самой в такой луже потонуть – это уметь надо. Или желание иметь огромное, а к нему – камушек на шее, килограммов этак на полтора, чтоб, когда желания вместе с воздухом в легких поубавится, наружу не вынырнуть. А значит, что? Нашла бы способ попроще. Да и с одеждой вопросец... куда одежда подевалась?

Семен не знал. Он про одежду как-то и не подумал, уж больно гармоничной в солнечно-водяном антураже была нагота, почти целомудренной.

Вытягивать надо. А не хочется. Не потому, что противно, наоборот, безгливость появится позже, когда тело на берегу окажется, желтые с зеленоватым отливом волосы облепят кожу грязными прядями и солнечные зайчики вместе с иллюзией жизни окажутся в воде.

– Ну что, пусть Звярский тут разберется, а мы пошли местных поспрошаем. – Венька, поднявшись по склону, оглянулся. И Семен тоже, потому как не оглянуться было невозможно, чудилось, что женщина смотрит прямо в спину.

Речка, зажата с двух берегов зеленой щетиной тростника, в которой то тут, то там проплешинами выдавались в берег узкие песчаные косы, блестела на солнце. Носились в воздухе стрекозы – мелкие, юркие вертолетики и тяжелые, гудящие коромысла, стрекотали кузнечики, облачками живой пыли висела мошкара. А девушки отсюда не видно.

Вот и хорошо, вот и ладно, а то ж...

– Чертовщина какая-то, – заметил Венька, вытирая пот. И Семен мысленно согласился: и вправду чертовщина. Ну не может смерть красивою быть, а тут... и как будто живая.

– Да ведьмой, ведьмой она была, – поспешно заявила Нина Сергеевна, поднимаясь с ведра, которое она использовала вместо стула. – Ох ты, боже ж ты мой, страх-то, страх...

Она широко перекрестилась куском хозяйственного мыла, который крепко сжимала в руке. Кусок был серый, треснувший и смыленный с одного края, а в ведре, насколько удалось разглядеть Семену, белыми жгутами лежало мокрое белье.

– Рассказывайте, – строго велел Венька. – По порядку и подробно.

– Ну... значит, с утра я стирать-то думала. Точней, вчера еще думала, и замочила, и порошок, порошок, но выполоскать-то надо, – залопотала Нина Сергеевна, опасливо оглядываясь на Семена. Ну да, не Веньки ж ей опасаться, он хоть и говорит строго, но с виду щуплый, невысокий – невидный, как Машка говорит. А Семен, значит, наоборот, видный, с его-то двумя метрами роста и почти центнером весу.

Семен вздохнул и шею потер – чесалась, падла. От жары, от пота, от того, что, верно, успела уже обгореть.

– Ну, а там, значит, мостки, полоскать удобно. – Старуха увидела мыло в руке, вздрогнула, опять перекрестилась и сунула кусок в карман грязного серого фартука. – На палку нацепил и в воду сунул, туда-сюда помотал, и чистое.

– И что дальше? – Венька строго глянул, но не на свидетельницу, а на Семена. Злитесь, что ли? Или снова намекает? Ну, пора б усвоить, что не понимал Семен намеков, хоть убей, толстокожий оттого что – это тоже если Машке верить, ну а как ей не верить, когда она Семена как облупленного знает. Сестра как-никак.

– А дальше... – Личико Нины Сергеевны вытянулось, даже как будто морщины разгладились. – А дальше она... вот вам крест, лежит себе, плячется из-под воды! И улыбается, улыбается!

– Кто?

– Да ведьма эта!

Ведьму звали Людмилой Константиновной Калягиной, и была она двадцати пяти – а Семен был готов присягнуть, что ей не больше восемнадцати, – лет от роду, незамужней и бездетной. То ли первое являлось следствием второго, то ли совсем наоборот, однако факт, что родных и близких, таких, которые могли бы рассказать о Людмиле, в деревне не нашлось.

– Так мать ее приبلуда, и сама она, значит, нагулянная. – Нина Сергеевна шла, тяжело переваливаясь с боку на бок, горбясь влево, видать, под весом наполненного бельем ведра. И при каждом шаге охала. Или ахала. Или крестилась, правда, теперь щепотью, как полагаются, а хозяйственное мыло прямоугольником выделялось в кармане. – Мамка ж ейная к нам уже с дитем приехала, говорила, что мужик погибши. А Манька, которая почтальонка, она с паспортисткою районной в подружках ходила, та и сказала, что, значит, никакого мужика и не было. Паспорт-то чистый...

Венька кивал в такт шагам и словам, и Нина Сергеевна, ободренная вниманием, начала говорить быстрее.

– Так она-то свидетельство о рождении видела и говорила, что там вместо отца прочерк. Значит, врала, врала Берта...

– Берта? – переспросил Венька и, остановившись, пот вытер. – Нина Сергеевна, вам не тяжело? Может, помочь?

– Тяжко, ой, тяжело. Спину крутит, застудила, видать. – Свидетельница осторожно поставила ведро на землю и ногою подперла, видать, опасаясь, что опрокинется, покатится вниз по склону, разбрасывая мятые пережеванные руками простыни да наволочки. – И в боку колет, вот тут...

Она хлопнула по круглому боку и хитро глянула на Семена.

– Мамку ее Берто звали, не по-нашенски. И была она из себя вся ну прям городская, платье понаденет, клипсы прицепит и ходит павою, нос от людей воротит...

Семен подхватил ведро, до деревни всего-то десятка два метров. Крайний дом утонул в кустах белой и лиловой венгерской сирени, над свечами соцветий с громким жужжанием кружили пчелы, а в тени, свернувшись калачиком, дремала бело-черно-рыжая кошка.

– Сюда, сюда давайте... вот беда, теперь с колодцу таскать придется, а как таскать, когда спина болит? – Старуха ловко откинула петельку из белой бечевки и потянула на себя просевшую калитку. Вошла, шуганув рыжую курицу, и, указав на лавку, велела: – Сюды поставь, пусть нагреется.

Семен примостил ведро на низкой широкой лавке. Мутноватые, крохотные окошки дома, расчерченные тонкими планочками фанеры, отливали серебром. Белая вата, сунутая между рамами, поблескивала стеклянной крошкой и черными трупиками дохлых мух.

– Вот и говорю, что дура баба была, ей бы за ум взяться-то. – Нина Сергеевна села на лавку, поправила красную с белыми цветами косынку и, вытянув ноги в красно-белых же байковых тапочках, заговорила: – Подумаешь, дитё, оно, конечно, кому надо, чтоб женка гулящая, но ведь собою-то хороша, страсть как хороша, могла б и замуж выйти, вон Ванька за ней ухлестывал. А она со старухой связалась, та и ей жизнь попортила, и девке ейной... сама, значит, ведьмой была, а как померла, Берте знания передала, а та уже дочке своей...

Кошка, приоткрыв глаза, лениво потянулась, царапнув коготками желтое солнечное пятно.

– Значит, Берта тоже умерла? – Присев на корточки, Венька погладил кошку, та сердито дернула хвостом, мяукнула, но не ушла.

– Померла, видит бог, померла! И не по-доброму! Три дня в горячке билась, тогда-то и поняли, что и вправду ведьма. Душа-то темная, на небо дорожки не видит, в ад ее черти когтями тянут, а она, бедолажная, за тело держится, мученья доставляет. Вот и крутит ведьм и ведьмаков болью, пока кто из милости не поможет!

Венька отвернулся, пряча улыбку.

– А ты не смейся, не смейся! – Бабка хлопнула ладонями по скамейке, да так, что ведро едва не слетело. – Умный, значит, выученный! А ты походи, поспрашивай – ведьмой Берта была, тут тебе каждый скажет и крестом перекрестится. И помирала она от этого долгохонько, а перед смертью силу свою дочке отдала! Та знатною стервозою числилась.

Кошка, шлепнув хвостом по земле, поднялась, потянулась, скребнув мягким белым брюхом по зеленой траве. Потом выгнулась дугою, зашипела, но не зло, лениво. Венька все одно убрал руку, поднялся, отряхнув ладони, и примирительно спросил:

– И в чем эта сила заключалась?

– А в том, что не человек она, – Нина Сергеевна шикнула на кошку. – До мамкиной смерти небось страшная ходила, прям не дитё, а ирод какой, ну а как Берта преставилась, спаси Господь грешную душу ее, так Людка и похорошела.

– Сразу?

– Да вот те крест! – старуха снова перекрестилась. – И вот глядишь на нее, ничего ж особенного нету, худлявая, длиннющая, кости сквозь шкуру просвечивают, одно, что волосы белые, длинные, до сраки самой, а так-то не девка – вобла сушеная. В мать пошла, та тож благая была, а вот мужиков к ней тянуло. Это оттого, что слово заветное знала.

– Берта или Людмила?

– Обе, – решительно заявила Нина Сергеевна. И, прикусив красный, окаймленный реденькими ресничками бахромы хвост платка, пробормотала: – Но кто ж ее... вот беда...

Кошка плюхнулась на спину, потянулась, мазнув лапами в воздухе, зевнула, демонстрируя красную, точь-в-точь как платок, пасть и белые капельки зубов.

Ведьма, значит. Ведьм Семену пока встречать не доводилось. Наверное, к счастью.

– Да вы к Таньке сходите, к Петрушовой, – встрепелась старуха. – Они с Милкою со школы подружками сердешными! Если чего кто и знает, то Танька... только вы ее крепко поприжмите, шалаву. Пригрозите хорошенько, она все выложит!

«Право слово, дневник – совершеннейшая глупость, но матушка велела вести, потому как привычка записывать дела сделанные и те, которые только предстоит сделать, дисциплинирует. Матушка считает, что я – недостаточно дисциплинирована, вероятно, она права, но все одно, сидеть и думать, о чем же написать в тетради, которую никто, кроме тебя, и не прочтет, как-то глупо. И скучно.

И на сегодня мне писать больше нечего. Н.Б.»

«Матушка каждый день спрашивает о дневнике, поэтому вторая моя запись появилась тут, как и первая, благодаря настойчивому ее желанию перевоспитать меня. Я стараюсь. Сегодня пили чай из нового сервиза на двенадцать персон, кузнецовский фарфор с позолотой. К чаю были ватрушки, пирожные-безе из французской кондитерской, которая недавно открылась на углу, и пьяная вишня. Правда, ее маменька попробовать не позволила. После ходили в парк. Снова чаевничали. Скучно. Н.Б.»

«Пробовала писать стихи – пусть в дневнике будет хоть что-то интересное, однако выходят сплошные амуры со стрелами, розы да кровь с любовью зарифмованная, а это – дурной тон, даже если никто и не прочтет.

Впрочем, некоторые особы имеют прескверную привычку читать стихи собственного сочинения в салонах. И не было бы в том беды, ежели бы вышеупомянутые особы обладали поэтическим даром, однако же мой опыт позволяет утверждать, что на одного поэта приходится с десятков рифмоплетов. Матушка говорит, что я чересчур строга и требовательна к людям. Постараюсь стать доброй. Н.Б.»

Марта

Еще только десять утра, а я уже сломала ноготь, каблук и Варькину жизнь. Ну с ногтем и каблуком понятно – несчастный случай, так сказать, – а вот с жизнью сложнее.

– Стерва, какая же ты, Кися, стерва. – Варька всхлипнула. – Ты же нарочно! Нарочно ведь!

Она часто-часто заморгала, засопела, из последних сил сдерживая слезы, но все равно разревелась. Ну вот, теперь я буду чувствовать себя виноватой. Наверное.

– Ну скажи, зачем... зачем он тебе?

– Мне он совершенно не нужен.

Я закурила, просто для того, чтобы успокоиться. Ненавижу слезы. И баб ревущих тоже. Неужели она не понимает, насколько сейчас уродлива? Поплывшая косметика, тени желто-зелеными пятнами, тушь черными полосами, подрастекшийся тональный крем, отчего кожа выглядит пятнисто-ноздrevатой, нездоровой. И нос покраснел. А помаду вообще съела.

– На и успокойся, – я протянула Варьке пачку бумажных салфеток. – А лучше в туалет сходи, умойся.

Она поднялась, с грохотом отодвинув стул, и с гордо задранным подбородком отправилась в туалет. Тут же налетела на какого-то упитанного типчика в сером костюме и с толстым портфелем, за который типчик держался обеими лапками. Он взвился, заверещал что-то тонким голоском, и Варьку как ветром сдуло.

О боже, ну и день сегодня... сломанный ноготь выглядел жалко, сломанный каблук, прикрепленный наспех жевательной резинкой, подозрительно шатался. А Варька вот-вот вернется и снова начнет истерить. И ведь не докажешь, что я к ее драгоценному Димусику ближе чем на полтора метра не подходила! Нужен он мне больно, то еще сокровище – полтора метра самомнения, отрастающее брюшко и ранние залысины, которые Димусик отчего-то считает признаком сексуальности.

Варька умылась и успокоилась, плюхнулась на стул, вытянула из пачки сигарету и прикурила.

– Козел он. – Хрипловатый голос, нарочито независимый тон. А глазки покраснели, припухли, и кожа выглядит старой, вон, тонкими морщинками пошла, и прическа эта ей не идет, как и цвет. Блондинка... какая из Варьки блондинка, когда вон черные корни торчат и сама смуглявая. – А ты – коза.

– Я не коза, я Кися.

На старую шутку Варька отреагировала многозначным хмыканьем. Перемирие, значит. Вот и хорошо, а то ведь и вправду день неудачный. Каблук подозрительно съехал набок... нагнуться и поправить? Нет, потом, позже, когда Варька уйдет.

– Кись, ну ты честно с ним не спала?

– Честно!

Мысленно я перекрестилась. Не хватало в жизни счастья! Да меня от одного запаха ультрамодной гиперсексуальной едко-мускусной Димусиковой туалетной воды выворачивает. И от прикосновений его случайных, и от взглядов... как это у него смелости хватило признаться?

– А он и не признавался. – Подтянув поближе пепельницу, Варька сбила серый столбик пепла. – Точнее, черта с два признался бы, будь он трезвым. А тут... корпоративка у него... пришел на рогах, еле-еле мычит, а туда же... я ему и толстая, и крашенная.

Она снова всхлипнула, рот искривился, и даже дым, который Варька выдохнула, вышел мятым, будто жеваным.

– И... и еще, что задница большая!

– А у меня, значит, не большая? – Я махнула официанту. Мероприятие «обед с подругой» подходило к концу, можно и счет попросить, все равно кофе в меня уже не лезет, а для коньяка рановато.

– У тебя – идеальная! Ты сама, Кися, идеальная! Вся! – Варька почти выкрикнула это. – Ты... да чтоб ты знала, мне твоя идеальность поперек горла стоит! Вот тут! – она резанула ладонью по шее, белые, закрученные тонкими спиральками кудряшки смешно подпрыгнули. – С самого детского садика! В школе тоже! В универе! А еще вот теперь! Ты, Кисина, идеальная сволочь, вот кто ты!

– Успокойся.

– А я спокойная! – Варька уперлась руками в спинку стула, наклонилась, выдыхая кофейно-коньячно-сигаретную смесь запахов. Официант замер в двух шагах от нашего столика и выжидающе поглядел на меня, пришлось махнуть рукой: не надо ему вмешиваться, ни к чему. Всего лишь девичьи разборки. Неудачное продолжение неудачного дня. – Я, Кися, спокойная, – повторила Варька на полтона тише. – А ты и вправду сволочь. Только сейчас я поняла, что давно надо было сказать. А терпела, ждала... подруга, видите ли, старая. Хорошая. Проверенная! Да ты мне всю жизнь поломала! Да я... я ни секунды ни жила сама, вот чтоб без оглядки, без сравнения. Варвара, ты посмотри, какая Марточка молодец, она никогда не испачкала бы такое платье... она никогда бы не огорчила родителей двойкой... она никогда бы не стала задерживаться у подруги... или целоваться с молодым человеком в подъезде.

Надо же... а у нее неплохо вышло передразнить Нину Сергеевну, такой знакомый-знакомый, медвяной голосок, мило подпорченный легкой картавостью. Кокетливой.

Зря она, Нина Сергеевна замечательный человек. Была. Ушла. А в ее квартире поселился Димусик, наверное, поэтому я его и невзлюбила.

– Да ты... ты же монстр, Кися, ты чудовище, от которого бежать надо, не оглядываясь! Нормальный человек просто не может быть таким... таким идеальным! Нормальный человек, он ведь нормальный! А у тебя... идеальное детство, идеальный роман, идеальный брак... даже развод и тот идеальный! Стерва ты! И Димусика я тебе не отдам, потому что люблю!

Из Варькиных глаз брызнули слезы, и она, развернувшись, выбежала из кафе. Вот так... и Варька туда же. Помирился? Вряд ли. Правду сказала, все, что накопила, насобираала за годы дружбы, это мне казалось, что мы дружим, а выходит, что...

– Позволите? – На стул примостился давешний тип с портфелем. – Такая красивая женщина и такие слова... несправедливо, несправедливо! Вот я, как посторонний человек, со всей ответственностью могу сказать...

– Как посторонний человек со всей ответственностью вы можете убраться куда-нибудь. – Я махнула официанту. Черт побери, я просто хочу отсюда исчезнуть. Сейчас же. Немедленно!

– Позвольте вас угостить? – Глазки моего навязчивого собеседника смотрели с надеждой и заранее заготовленной обидой.

– Не позволю. – Я сунула деньги в папку, а папку – официанту, попыталась подняться, позабыв о сломанном каблуке, и едва не упала. Зато столик столкнула, и чашка с недопитым кофе опрокинулась, выпуская на белокрахмальный простор скатерти темную ароматную лужу.

Да что же за день сегодня такой!

– Ну и стерва, – громко сказал типчик официанту. Что тот ответил, я не слышала. Не хочу слышать. Не буду. И плакать тоже. Я ненавижу слезы и плачущих женщин.

Сесть, успокоиться, поправить макияж, прическу, улыбнуться своему отражению в зеркальце, кое-как дойти до ближайшего обувного магазина и распрощаться, наконец, со

сломанным каблуком. Новые босоножки немного жмут, но, даст бог, лимит неприятностей на сегодня исчерпан и максимум, что мне грозит, – неидеальные мозоли на идеальных ногах.

Я ошибалась.

– Марта Константиновна, поймите, все более чем серьезно. – Доктор состоял из плавных линий, кругов и округлостей – округлое брюшко, стыдливо задрапированное тонкой тканью льняной рубахи, округлые покатые плечи, из которых на коротенькой шее-пеньке торчала круглая, точно циркулем выведенная голова. А из-за круглых стекол очков с удивлением и тоской взирали на мир совиные глазки. И даже лысина на голове была круглой, ровненькой, аккуратненькой, блестящей. – Марта Константиновна!

Я вздрогнула. Надо же, увлеклась, оказывается.

– Да, извините, просто...

– Понимаю, понимаю. – Он поправил очки на носу. Как же его зовут? Не помню, совершенно не помню... вот ведь незадача-то. У меня всегда была хорошая память.

– Сложно смириться, сложно осознать факт, что не все в этой жизни подвластно нам, что порой случается нечто, меняющее само представление о мире. – Доктор глядел печально и участливо. И бровки у него полукружками, светлые, выцветшие-рыжие, точно прилипшие к коже лимонные корочки. – Марта Константиновна. – Он выдохнул и, подавшись вперед, накрыл рукой мою ладонь. Холодное и липкое прикосновение неприятно. – Марта Константиновна, я понимаю, насколько вам сейчас тяжело. Вы нуждаетесь не столько в лечении... увы. – Томный вздох и резкий искусственный запах мяты. – Вы нуждаетесь в поддержке, в твердом плече, в человеке, на которого могли бы положиться... Сейчас вы пребываете в состоянии шока.

Я рассмеялась, Господи, ну почему он? Этот толстый уютный безымянный доктор? Он же смешон! Выглаженная рубашка, платочек, выглядывающий из нагрудного кармана, в ящичке стола – сто против одного – контейнер с паровыми котлетками, пюре и салатиком, на пальце обручальное кольцо. А туда же, в ухажеры.

Противно.

И страшно. Почему мой вестник смерти выглядит так нелепо? И может, поэтому не хочется ему верить? Не хочу его слушать? И имя забыла тоже поэтому, а не оттого, что у меня... что мне осталось жить несколько месяцев. Или недель. Или...

– Бедная вы моя, – он попытался выбраться из-за стола. – Вы плачете, плачете, Марта Константиновна, слезы, они помогают. Особенно женщинам.

Плакать? Вот уж нет. Пусть другие плачут, а я буду смеяться, пусть и похоже на истерику.

– Простите, – отсмеявшись (доктор терпеливо ждал, слепив ручки домиком), я вежливо улыбнулась. – Значит, диагноз окончательный? И обжалованию не подлежит?

Он развел руками. Понятно.

– А ошибка? Ведь бывает, что врачи ошибаются...

– Бывает, – согласился он. Теперь, перестав изображать сочувствие, он стал мне почти симпатичен. Почти. – Но вы сами понимаете, Марта Константиновна, что наша клиника...

Дьявольски дорогое удовольствие. И, как оказалось, бесполезное. Через три месяца я умру. Может, раньше, может, позже, как повезет. А с самого утра мне совершенно не везет. День такой.

– Операция? Швейцария, Германия, Америка, Израиль... ведь делают же! Делают!

– Не в вашем случае. – Доктор поправил воротничок рубашки. – Понимаете, Марта Константиновна, мне самому бы хотелось помочь, и даже не потому, что вы удивительно красивы, или умны, или талантливы, а потому, что вы просто есть. Как человек. Тут уже не столь важно, какой человек, все мы заслуживаем права на жизнь, но... но буду откровенен –

ничего сделать невозможно. Будь хоть малейший шанс, надежда, пусть и призрачная, я бы постарался, я бы помог, я бы... я бы небо ради вас перевернул, но...

Но приговор подписан. В висках снова закололо: тонкие иглы, точно волосы внутри головы врастают, в воздухе резко запахло дымом, а рот наполнился вязкой слюной.

Мигрень. Или опухоль, ее вызывающая. Неоперабельная. Быстро растущая.

– Держите. – Викентий Павлович – имя всплыло само и тут же запуталось в силках боли – протянул стакан с водой и круглую таблетку. – Давайте, глотайте и запивайте. Потом станет легче.

Потом уже не будет никогда. Странно это понимать. А минералка с газом оказалась, не люблю такую – пузырьки ударили в нос, и я чихнула. И воду расплескала, на платье, на бумаги и даже немного на льняную рубашку Викентия Павловича. Он укоризненно покачал головой.

– Извините.

– Знаете, я бы порекомендовал вам уехать. На неделю-другую. – Он взял забрызганные бумаги и осторожно перевернул, позволяя воде стечь на пол. – Отключиться от мира, подумать, прийти в согласие с собой. Свыкнуться.

Прозрачные капли скатывались на ковер, оставляя на нем темные пятна, будто сыпь... сыпь у меня возникает от прописанных Викентием Павловичем таблеток, но без них никак, без них – мигрень.

Странно думать о том, что скоро умрешь. Поэтому и отталкиваю мысли, глядя, как на синем ковролине становится все больше и больше водяных пятнышек. А Викентий Павлович – до чего же нелепое имя, но тоже круглое, мягкое, внушающее доверие, – положив бумаги на подоконник, подвинул к себе резную шкатулочку.

– Где же... не то, совсем не то... хочу порекомендовать одно место... не самое известное, не самое разрекламированное, точнее, рекламы они вообще не размещают, но все же... – Откинута крышка шкатулки позволяла разглядеть содержимое – визитные карточки, стандартные прямоугольники, белые, синие, черные даже, наверное, ритуальные услуги. Интересно, а их Викентий Павлович будет предлагать? – Вот! – он вытащил из шкатулки бледно-зеленый, с серебристой окантовкой прямоугольник. – Место приличное, сервис на уровне, услуги стандартные, но главное – уединенность.

Визитка жесткая, ламинированная, с острыми краями и скругленными углами. Оливково-серебряные тона, сдержанная элегантность шрифтов и, словно в противовес, вычурное название: «Пансионат „Колдовские сны“,» а чуть ниже – «Рещина В.С., директор» и номера телефонов.

– Валечка – золотой человек, настоящая волшебница, поверьте, она знает, что такое настоящий отдых, и для тела, и для души...

Вечером я напилась. А утром позвонила Валечке.

Никита

Хватит с него! Хватит.

– Хватит, – повторил Никита своему отражению в зеркале. То в ответ шевельнуло губами и застыло, раздраженно глядя на него. Бог ты мой, до чего он докатился-то? Красная рожа, белая щетина, опухшие глаза и волосы дыбом.

– Никуша, ты уже встал? – На пороге появилось черноволосое встрепанное существо, кутающееся в его рубашку. Рубашка была мятой, с расплывшимся по груди винным пятном и оборванным – когда только успелось – карманом. – Никуша, от головы есть что?

Существо сунуло руки в черные патлы волос и зевнуло. Господи, зовут-то ее как? Анжела вроде. Или Мила?

Вот ведь пошлость, проснуться с головной болью и девушкой, имя которой прочно затерялась в алкогольном хаосе мыслей. Девушка, так и не дождавшись ответа, прошлепала на кухню. Если повезет, то она сварит кофею.

– Сволочь ты, Жуков, – сказал Никита отражению и повторил данное обещание: – Все, хватит, больше никаких загулов. И никаких баб. И вообще приличным человеком стану.

Отражение скривилось, не поверило.

– Не верю. – Бальчевский постукивал ручкой по столу. Нарочно, гад: знает, что голова у Никиты трещит, несмотря на кофе и таблетку аспирина. В желудке тяжелым комком давили сварганенные Ликой – девицу звали Ликой – бутерброды. – Вот не верю я, Никитос, что ты еще на что-то способен. – Бальчевский воткнул ручку в бронзовую драконью тушку, аккуратно между перепончатыми крыльями, и Никите на миг почудилось, будто дракон зашипел от боли. Или это он сам зашипел? Оттого, что в голове, ближе к затылку, огненный шар взорвался. – Ты посмотри на себя, Жуков. Во что ты превратился?

– Да ладно тебе, нормал же все... – Льда бы холодного, вот прямо к затылку приложить большой-большой пакет. И на диванчик лечь, ноги вытянуть, жалюзи на окнах закрыть, и шторы тоже, и телефон к чертовой бабушке отключить. И звонок дверной. Лежать, наслаждаясь тишиной и покоем.

– Нет, Никитос, не нормал. Далеко не нормал. Два твоих последних концерта едва-едва не провалились... про сольник забудь, про более-менее крупные площадки тоже. И не потому, что ты поешь хреново, нет, это единственное, что ты нормально делаешь, а потому, что ты урод конченный и связываться с тобою серьезным людям неохота. И мне на тебя давным-давно плюнуть надо было и оставить, позволить захлебнуться в собственном дерьме и сомнении.

– Жорка, прекращай, а?

– Прекращу. Когда закончу и выскажу наконец все, что хочу. – Бальчевский поднялся, подошел к окну, повернулся спиной и ручки сзади скрестил. Рисует, падла, морали читает. Возится он... да за свою возню он и бабки нехилые гребет. На его, на Никитовы кровные, и костюмчик куплен, и ботинки эти, до блеску начищенные, и кабинет обставлен... мог бы диван прикупить или хотя бы кресло поудобнее, а то в этом душно и тесно, ни повернуться, ни голову больную примостить поудобнее. Ох ты, Господи боже мой, скорей бы эти нотации закончились...

– Ты, Никитос, был звездой. И главное слово здесь – «был». Звезд хватает, каждый год, каждую долбаную неделю по десятку новых выходит. А ты – все, тираж, прости-прощай романтичный юноша, поющий о любви... ты себя в зеркале видел? Рожу свою испитую? Какая романтика? Тюремная максимум. И юношей тебя уже не назовешь. Ты дед, Никитос, ты старый, надоевший всем до зубовного скрежета дед, у которого не достает духу самому себе признаться, что он смешон. Милая моя, драгоценная, есть одна любовь, но бесценная...

Тонкий фальцет Бальчевского вскрыл череп, зазвенел в ушах, вызывая волны такой дикой боли, что Никиту едва не стошнило.

– Прекрати!

– Не нравится? А людям, думаешь, нравится видеть здорового мужика, который по привычке думает, что он молод? – Жора принялся мерить кабинет шагами, худой, длинный, в черном строгом костюме похожий на гробовщика. Прилизанные, разобранные на ровненький пробор волосы такой длины, чтоб прикрывали чуть оттопыренные уши, бледная кожа, почти сливающаяся по цвету с белой рубашкой, строгий галстук в узкую полоску, кольцо на руке, одно-единственное, обручальное. Правильный, значит, офигенно правильный, до того, что прям тошно от этой правильности. Да кто он такой? Агент? Да таких агентов, стоит свистнуть, сотня прибежит.

Или не прибежит? Головная боль мешала думать.

– Да, когда-то ты попал в десятку, внешность, голос, репертуар... – задумчиво произнес Бальчевский, останавливаясь напротив. От него несло туалетной водой, и Никиту снова едва не вывернуло. Ей-богу, был бы бабой, забеспокоился б. – Но это было давно, Никитос. Это было дьявольски давно. Я предлагал тебе пересмотреть, поработать, уйти на время, чтобы вернуться в новом образе, но ты не захотел. Тебе было лень меняться. Зачем, если все и так работает?

Работало, а ведь и вправду работало, родное, выгрызенное, вытащенное, каждая чертова песня как кровью писанная, ведь сам же, все сам, и слова, и музыка, и... и оценили же!

Никита Жуков – звезда. Никиту все знают.

Или знали? Нет, не выходит думать, голова трещит.

– Ушел бы на годик, – Бальчевский говорил уже спокойно, даже задумчиво. Уж лучше б орал, он всегда орал, а потом успокаивался и находил выход, придумывал что-то, чтоб зацепиться на скользкой вершине. Вот этот новый тон Никите не нравился, чудилась в нем некая обреченность. – Или даже на полгода. И вернулся бы, с достоинством, к людям, которые тебя помнят, которые росли вместе с тобой, которые дрыгали на танцплощадках и дискотеках ногами под твои песни, которые под них целовались и трахались, думая, что это – любовь. Только эти люди, Никитос, выросли, у них семьи, работа, дети, другая жизнь, другие проблемы, и тебя они послушают, разве чтоб ностальгию подпитать. Им чего-то другого уже надо, а новому поколению ты, извини, давно неинтересен. Ты меня слушаешь?

Никита кивнул. Слушает. Бальчевского невозможно не слушать. Значит, выросли... когда выросли? Когда Никитос в девяностых пытался пробиться? Пел он что-то... а уже и не вспомнишь, что именно. Гастроли были по России, дефицит, безденежье вечное, гостиницы, в которых не то что тараканы – крысы по коридорам шастали, клубы с раздолбанной, разворванной аппаратурой, люди, которые ждут от тебя чуда, потому как за это чудо заплатили деньги, а денег мало. И желание это чудо дать, хотя бы ненадолго, хотя бы для того, чтоб самому согреться, отвлечься, забыть.

Когда же пришла слава? И была ли она вообще? Наверное, была: гостиницы получше, охрана у номеров, цветы от поклонников и поклонниц, сами поклонницы – фанатки, теперь это называется фанатки, – готовые на все, и от этой готовности поначалу даже страшно, а потом ничего, привык, стал принимать как должное. Люди на концертах, пришедшие уже ради него, Никиты Жукова, почти бога...

Пощечина вывела из размышлений.

– Ты что же, Жуков, скотина этакая? Я перед тобой тут распинаюсь, прямо из шкуры выпрыгиваю, а ты дрыхнешь? – Бальчевский вцепился в ворот рубахи, потянул вверх, пришлось встать таким. Хреново-то как... а Жорка, гад, не отпускает, крепко держит и смотрит сверху вниз, с презрением, будто Никита ему должен. – Я от тебя откажусь, Жуков. Разой-

демся, и гуляй. Хочешь, спивайся, хочешь – утрахайся до смерти, хочешь, на иглу подсядь. Мне уже по фиг будет.

– Жор, ну ты чего?

– Я? Я ничего, я говорю, как оно есть. Либо ты берешься за ум и делаешь то, что я говорю, либо – до свиданья. Ясно, Никитос?

Жуков кивнул. И его стошнило. Прямо на Жоркин черный похоронный костюм и строгий галстук в узкую полоску.

– Господи, ну ты и свинья!

Свинья. Зато полегчало.

– Значит, так, – Бальчевский принялся стягивать пиджак, стараясь не коснуться испорченной ткани. – Завтра же, да, завтра ты отправляешься в одно место, где тебя, уroda, приведут в состояние, более-менее похожее на человеческое. И там сидишь, пока я не разрешу выползти.

– И что я буду там делать? – Перед Жоркой было стыдно. И перед собой тоже, вот ведь, как пацан, ну честное слово, никогда такого не случилось.

– Стихи писать, – огрызнулся Бальчевский. – А пока, Никит, сделай так, чтоб я тебя не видел. И будь добр, не напивайся хотя бы сегодня.

Сегодня? Сегодня он не будет, он ведь слово дал, что больше ни-ни... ну разве что полглотка пива, а то голова гудит, голову таблеткой не обманешь. И стихи напишет. Хорошие. Философские, про жизнь, которая в ладонях белым морским песком, норовит ускользнуть, просочиться сквозь пальцы, уходят лица-песчинки, и люди вместе с ними...

Он давно хотел написать такое, но с рифмой не ладилось. А сегодня выйдет, обязательно выйдет, он чувствует это шкурой, только здоровье чуть поправить надо. Всего полбокальчика, кому от этого будет плохо? Никому.

Я рисую солнце, нужно кувшин, а мне солнце хочется. И небо с тучами-зефиринами. Кисточка роняет в стакан каплю темно-синей гуаши, которая расползается осьминожкой – вчера на биологии нам про осьминогов рассказывали, и мне все думалось, какие они, теперь вот вижу: точь-в-точь как эта капля. Влажный лист норовит свернуться трубочкой, и приходится прижимать его руками, на манжете тотчас же проступает синее пятно краски, теперь Елена Павловна ругаться станет. Обидно. Но ничего, я нарисую ей солнце и подарю, вот просто за так...

Надо подождать, пока небо высохнет. Сидеть и ждать скучно, оглядываюсь – сзади Галька, высунув язык, сосредоточенно вырисовывает кувшин. Горлышко кривоватое вышло, и снизу он совсем не такой, но Галька старается. И спешит. А Людка почти дорисовала уже, она всегда все делает быстро и потому, по словам Елены Павловны, неаккуратно.

Небо досохло, теперь можно поставить солнце, облизываю кисточку – краска сладковатая, с привкусом мела – и, сунув в баночку с ярко-желтой краской, болтаю внутри, чтоб побольше набрать.

– Калягина, чем ты там опять занимаешься? – Зоя Михайловна, отложив журнал в сторону, поправляет очки.

– Рисую, – я осторожно ставлю точку в левом верхнем углу листа. Маленькую желтую точку на синем-синем фоне. Жалко, что белой гуаши нет, я бы облака подрисовала...

– Смотри, Калягина, – Зоя Михайловна грозит пальцем. У нее кольцо красивое, желтое с красным камушком, который то переливается в темный густой багрянец, то, наоборот, светлеет почти до прозрачного светло-розового.

– Смотри, – сердито повторяет Галька, отвлекаясь от рисования. – Схлопочешь пару, всех подведешь.

Подведу. Немного горько, но ведь рисовать небо интереснее, чем глиняный кувшин и желтое, прибитое с одного боку яблоко. Яблоко я бы лучше съела, но тогда точно получу, а тут... желтый круг вышел скучным, и я добавила капельку красного. Вышло похоже на глаз.

А почему и нет? Может, солнце – это тоже глаз? Кто-то сверху смотрит на людей, а они и не догадываются...

– Калягина, Калягина, – со вздохом произнесла Зоя Михайловна. И когда она только подойти успела? Наверное, когда я про солнце задумалась. – Ну что с тобою делать, а?

Не знаю.

Галька тайком показала кулак.

Тетка приехала на выходные. Хорошо, а то я уже соскучилась, на прошлые ведь ее не было, и на позапрошлые тоже, и до этого... давно не было, начинаешь считать дни, и страшно становится, поэтому и не считаю, просто радуюсь.

– Похудела, бедная моя. – Она гладит меня по голове и отчего-то краснеет, отводит глаза. – Плохо кормят?

– Нормально. – Мы сидим на лавочке, у самого забора. Отсюда корпуса не видно, точнее, только большое серое здание и блестящие окна, Галька, наверное, стоит, прижавшись носом к стеклу, смотрит. И Людка тоже, и Машка, и Женька с Юлькой... потом будут шепотом обсуждать и выспрашивать, о чем мы разговаривали.

И не поверят, что ни о чем.

С теткой разговаривать скучно, мы просто сидим.

– На вот, – тетка достала из сумки бидон. – Пюре и котлетки. Домашние. Для тебя жарила.

– Спасибо. – Я не люблю котлеты, но ем. А она смотрит. Смешная. Сегодня платок синий, а платье белое, нарядное, с блестящим пояском и золочеными пуговичками. Руки вот прежние, красные и некрасивые.

– Как учишься? – почему-то она всегда про учебу спрашивает. Разве это важно? Лучшие бы про то, когда мне вернуться разрешат, сказала бы. Я очень хочу вернуться туда, на луг, к ромашковому морю, оно мне часто снится, но ведь сон – это не взаправду.

– Ты учишься, Баська, учишься. – Тетка снова проводит рукой по волосам, поправляет банты и опять вздыхает. – Выучишься – человеком станешь, может, даже медсестрой. Или учителькой вот.

Котлет много, они жирные и сытные, а пюре с подливкой, я и без того сытая, наедаюсь в три минуты, но продолжаю жевать, а тетка, глядя, только головой качает. Жалеет. А зачем жалеть? Пусть лучше приезжает чаще.

Дождавшись, пока я наемся (котлеты комом встают в горле), тетка протягивает коробку.

– На вот тебе.

Внутри будет зефир, она всегда зефир покупает, бело-розовый и нарядный, облаковый. С Галькой поделюсь, и с Людкой, и с остальными, выйдет по чуть-чуть, но зато честно.

В моей стране все-все делят по-честному.

– И вот еще, Берта, – тетка поднялась с лавки, отряхнула подол, и мне опять стало страшно. Она никогда не называла меня Бертой. – Ты уже большая, взрослая, шестой класс...

Коробку с зефиром сжимаю крепко-крепко. Глаза бы еще зажмурить, а не могу, гляжу снизу вверх, отсюда тетка большая, солидная, как памятник в райцентре.

– Больше приезжать я не смогу, Степан ругается. Да и за мамкой евоной пригляд нужен... ты уж пойми, как могли, так поспособствовали твоему воспитанию. Но я о другом. Что Любка, сестра моя, померла, ты знаешь?

Знаю. Люба – это моя мама, это для нее я придумала страну, чтобы ей было где ждать, пока я не вырасту и не найду дорогу. А я найду когда-нибудь, обязательно.

– А вот про отца твоего... французик он, Берта, из приезжих. Поначалу с Любкой роману крутил, а потом умотал к себе, ее бросил... вот. И ни весточки, как есть позабыл про Любку.

Не понимаю, но слушаю. Коробка в руках смялась, и теперь зефир прилипнет к крышке, придется сколупывать пальцами, а Елена Павловна будет говорить, что мы безманерные. Глупое какое-то слово.

– Там это, фотокарточка, и медальонка, которую он ей оставил. Степка не велел отдавать. Ты не подумай, нам чужого не надо, но зачем тебе такая анкета, а?

Не знаю. А зачем мне вообще анкета? Спросить? Но тетка совсем-совсем чужая, как такую спрашивать?

– А я вот решила, что раз батька, то пуцай будет. Оно ж в жизни по-всякому обернуться может, мало ли...

Она еще что-то говорила, моя-чужая тетка, только я не запомнила. Я ведь невнимательная, это все знают. А в коробке, кроме зефира, лежало две фотографии, желто-коричневых, строгих, с зубчатым краем и подписанных непонятно, и еще тонкая желтая цепочка с овальным медальоном. Если сбоку нажать, он раскрывался, правда, внутри пусто, но я что-нибудь придумаю, а пока и так носить можно. Медальон красивый, со львом, который в лапах солнце держит.

Тетка действительно больше не приезжала.

Семен

– Да ничего я не знаю! Ничегошеньки. – Татьяна Васильевна зло раздавила окуроч в пепельнице и закрыла лицо ладонями. Плечи под тонкой белой тканью блузы дрогнули, подались вперед, четче обрисовывая широкие треугольники лопаток. – Господи, когда это кончится-то!

– Что кончится? – вежливо поинтересовался Венька, присаживаясь на пластиковый стул. Семен вот присесть не рискнул, очень уж ненадежно выглядела мебель, еще треснет или, хуже того, разломается, придется потом объяснительные писать. Уж лучше он под яблонькою постоит...

– Все! Все кончится! Когда ж они отстанут! Да я с Людкой сто лет не виделась, понимаете? Я вообще не знала, что она приехала! Она ж теперь крутая стала... – Кривоватая улыбка, асимметричные, резкие черты лица, крашенные в медно-рыжий цвет волосы и такая же, медно-рыжая, сухая, украшенная ранними морщинами кожа. Татьяна Васильевна если и была красавицей, то очень давно.

– Что? Нехороша, да? – Она вдруг обернулась, полоснула злым обжигающим взглядом. – А Людка, значит, хороша? Стерва!

– Татьяна Васильевна, успокойтесь, расскажите обо всем, что случилось... когда вы познакомились с Людмилой?

– Когда? Да в детском саду еще, ее Берта привела. – Петрушова вздохнула, потянулась за пачкой сигарет и, вытащив одну, спросила: – Огоньку не найдется?

– Пожалуйста, – Венька предупредительно щелкнул зажигалкой.

– Вот, Берта, значит... представляете, она такая красивая была. Я до сих пор помню, честно! Белое платье в черный горох, юбка широкая, солнышком, ворот треугольником, пояс красный, блестящий. И туфельки красные...

– У Берты?

– Ага. Я никогда таких, как она, не видела... и еще духи, не «Красная Москва», как у мамки, другие... а Милка, Милка вот обычной была. Никакой. Вечно спала, что в саду, что в школе на уроках, что потом. Нет, тупой не была, наоборот даже, вроде и продремлет все, а начнешь спрашивать – знает, вот хоть слово в слово повторит. И память у нее хорошая... была. А вот характера никакого. Так мне казалось. – Она стряхнула пепел на землю, вздохнула и продолжила: – Мне Милка вообще не нравилась, но Берта... из-за нее я в доме любила бывать. И из-за Сары тоже, они вместе жили... Вы когда-нибудь слушали патефон? Труба желтая, блестящая, как ракушка морская, ручку накручиваешь, стараясь не пережать, чтоб пружина не сломалась, и потом пускаешь, и пластинку наверх кладешь, и лапку с иглой вниз...

На зеленый, опушенный плотным войлоком тонких волосков лист присел шмель, потоптался, разворачиваясь, и с тихим гулом поднялся в воздух.

– У них в доме много всяких вещей было и кроме патефона. Книги вот... или альбомы, фотокарточки старые, коричнево-желтые, с вырезанными краями и надписями непонятными, а там дамы в таких вот, – Татьяна Васильевна прочертила в воздухе неровный круг, – шляпках и платьях до земли. И кавалеры. И коляски, лошади... все такое смешное, будто ненастоящее. Еще у бабы Сары карты были, таро, самые настоящие, она их иногда раскладывала, просто, для себя, но потом мешала и смеялась, говорила, что на себя не гадают, нельзя... вот...

– А Людмила? – тихо уточнил Венька, рукой отгоняя назойливого шмеля, может быть, того самого, который сидел на яблоневоm листе.

– А Людмила на мать дулась, всегда причем. Вот вслух вроде ничего не говорит, но иногда... понимаете, у Людки взгляд такой, вот вроде мельком, мимоходом, а точно резанет. – Татьяна Васильевна вздрогнула и поежилась, хотя на улице было жарко, очень жарко. Шея уже не чесалась – пекла, а к вечеру пойдет пузырьками ожогов, придется мазями мазать и терпеть, а Машка еще и ругаться станет. И Венька ее с охотой поддержит, как всегда. Подкаблучник.

– Вы это, давайте в дом пройдете? – Петрушова вскочила, и легкий стул от толчка опрокинулся, но не упал, подпертый зеленым лохматым кустом шиповника. – В доме лучше будет. Не так жарко!

Она говорила громко, и отчего-то Семен сразу понял, что не в жаре дело, точнее, не только в ней, уж больно у Татьяны глаза стали испуганными. Семен обернулся – ничего. За забором пустая улица с желтой в выбоинах и яминах дорогой, с обеих сторон которой щетинилась низкая крапива. Дом напротив старый, но вроде как жилой – дверь открыта, ветер шевелит белую штору, во дворе куры копошатся, и рыжая собачонка, сунув лисью морду между штaketинами, печально смотрит на дорогу.

Ничего и никого. Кого она испугалась?

– В дом, в дом давайте. – Татьяна открыла дверь, откинула зеленую москитную сетку и шмыгнула внутрь, предупредив: – Осторожно, тут порожек!

Семену пришлось пригнуться, уж больно дверь была низкою. В сенях пахло травами, духами и кислым молоком, а в самом доме – хвоей и чем-то еще, резким и тягучим.

– Глянь, – Венька ткнул локтем и кивком указал на окно. В уголке, там, где за гвоздь крепилась толстая нить с натянутым тюлем, торчал сухой веник травы. И с другой стороны окна тоже. И над дверью, тут Семен сам заметил, без Венькиной подсказки. Для запаха она, что ли?

– Полынь это, и багульник, полынь, душица и крапива, – пояснила Татьяна, устало опускаясь на стул. – От наговоров, чтоб перестали, а то сплетничают и сплетничают... вы присаживайтесь, а то говорить долго.

В комнатке было чисто, неестественно чисто, будто бы и не жилая она. На полу лежали две узкие дорожки в сине-желто-зеленую полосу, в центре, прямо на их пересечении, при-
мостился круглый стол на широкой резной ножке, в углу – массивный шкаф с торчащим из двери ключом. А на противоположной окну стене висели иконы. Штук десять, от крохотных, которые и пальцем накрыть можно, до большой, в метр высотой, оклад из желтой латуни, закованный в тяжеленную раму и натертый до блеска.

– Божья мать да поможет, – Татьяна перекрестилась. – Божья мать помогла, избавила, спасительница, вывела... Господи, да не думайте вы, я ж понимаю, что плохо так говорить, но мне легче. Мне стало намного легче, когда вы сказали, что она умерла... утонула. Ведьма да воды убоится. Людка с детства боялась, все на речку купаться, а она и к берегу не подойдет.

– Почему? – Венька присел напротив свидетельницы, локти на стол положил, по-хозяйски отодвинул вазочку синего стекла, из которой серо-зеленым веником торчали травы.

– Потому что ведьма она.

– Людмила?

– Людка. Я сумасшедшая, думаете? Нет, не сумасшедшая, у нас все знали, что Людка от Берты научилась, как та от бабы Сары, только баба Сара и Берта добрыми были, а Людка совсем даже наоборот. Но я ж по порядку хотела... Господи, боже ты мой, с чего начать-то? Я про Берту рассказала, да?

– Да, – подтвердил Семен. Сестр он решил на диван, низкий, с желтой в белую крапину обивкой и обшарпанными подлокотниками. Диван затрещал, но выдержал, а иконы поглядели с укоризной.

– Берта, она актрисой была... только не любила говорить об этом, будто боялась чего или просто не сложилось. А потом уже шить начала, вот где талант! К ним с бабой Сарой все бегали, не любили, а бегали, в магазине-то приличного платья не купишь, а они из ничего буквально... А Людка мать швеею за спиной звала. – Татьянины глаза полыхнули злостью, но тут же погасли, подернулись прозрачной пленочкою слез. – Что я говорю, боже, что говорю... нельзя ведь о мертвых, Господи! Я ж правду рассказать хотела, только правду. Берта Людку учила, а та учиться не хотела, я не знаю почему, чем она так на мать обижена была, наверное, тем, что Берта красивая, ее все просто так любили, а Людку терпели, потому как зануда и нытик. А потом Берта умерла.

– От чего?

– От рака, последняя стадия, когда уже все... долго мучилась... врач приезжал, уколы делал и все такое. А в больницу не забрали. Я до сих пор пытаюсь понять, почему ее в больницу не забрали? Должны ведь были, верно?

– Ну... – Венька пожал плечами. – Наверное, должны.

– А ее не забирали, Людка все твердила, что Берта сама отказалась, все равно ничего сделать было невозможно, а умирать там она не хотела. Наши-то, местные, живо сказку придумали, мол, ведьмина душа мучится... нечего было ей мучиться, не было за Бертой ничего такого, чтоб так уходить.

– А за дочерью ее? Извините, мне показалось, что у вас есть причины ее недолюбливать...

– Людку? Верно сказали, недолюбливаю. Недолюбливала, – поправилась Татьяна и вытащила из кармана пачку сигарет. Положила на стол, погладила, точно раздумывая, закуривать или нет, потом достала одну и принялась вертеть в пальцах. – Нет, раньше-то, после Бертиной смерти, ее поначалу жалели: сиротка, бедная. Ну, а я с ней еще со школы. Подругой считала, знаете, как бывает, вроде человек не очень и нравится, а ты уже привык к нему.

Венька кивнул. И Семен тоже, просто чтоб хоть как-то в разговоре поучаствовать. В хате было прохладно, отчего зуд в обожженной шее чуть приутих. А еще было скучно. Ведьмы, Берта какая-то... какого фига Венька слушает все эти страсти столетней давности, кому они теперь интересны-то? Про утопленницу спрашивать надо.

– Мы с ней вообще долго были, когда уже и не подруги, но и не враги. А потом... потом она... вы ведь все равно узнаете, расскажут. У нас любят языками чесать, заняться больше нечем. – Татьяна убрала за ухо выбившийся локон, выпрямилась, вдохнула глубоко и заговорила: – Мы с Людкой когда в городе были, знаете, работы нет, точнее, есть, но охота разве подъезды мыть? Или на рынках мерзнуть? Да и то, ведь если б просто торговать, это одно, а тут и торговать, и... от хозяина не больно-то отмахнешься. Вот Людка и предложила. Поработать. Немного.

– В смысле... – Венька оглянулся, ища поддержки. А чего его поддерживать, ясно ж говорит, кем и чем работали, вот номер-то... красивая же. Не эта, свидетельница которая, затурканная, запуганная, поблекшая и постаревшая, неуловимо похожая на все иконы сразу, только не красотой, а запыленностью и заброшенностью. Покойница красивая.

– Без смысла, – резко оборвала Татьяна. – Какой тут смысл. Людка быстро сообразила, что к чему. Поначалу сами работали, а потом под Мариком ходили... Людка его быстро в оборот взяла, дальше пошла, выше. Карьера, мать ее...

Она оглянулась на иконы и, перекрестившись, пробормотала:

– Прости, Господи. Ну а со мной вроде как дружить продолжала, а я с нею, держались друг друга. Потом я уйти захотела, завязать, парня встретила, он не знал ничего, понадеялась – сложится семья, дети, не нужны мне деньги, ничего не нужно, лишь бы в покое оставили. Я бы заплатила отступных. И Марик вроде согласился, а потом... потом ему позвонили и рассказали про меня.

– Марику?

– Да нет, жениху моему несостоявшемуся. – Татьяна смахнула несуществующие слезы. – И ведь Людка, некому больше. Да и не скрывала она. Я спрашиваю – зачем? А она смеется только, говорит, что обо мне ж заботилась, проверяла, вправду ли он меня любит. Если б любил, не бросил бы, несмотря ни на что! И что себе именно такого найдет, чтоб любил, значит, чтоб не бросил, как мамку, и что нельзя фантазиями жить.

– Ну а потом что? – Семен отодвинулся от окна, подальше от вонючих букетов.

– Потом? Женька мой и вправду дерьмом оказался, начал пить и рассказывать, какая я стерва, обмануть его хотела, слухи поползли, хоть опять в город уезжай. А куда уедешь? Снова к Марику? Не-а, с этим все, нагулялась. А что тут обо мне говорят, так пусть хоть заговорятся, плевать. С Людкой вот разошлась, или она со мной. Ну с того разговора больше не показывалась, даже когда в санаторий работать пошла.

– В «Лебедушку», что ли? – поинтересовался Венька.

– «Лебедушкой» он раньше был, теперь по-новому называется, «Колдовские сны» вроде, самое место для Людки. Она там вроде при начальстве... и жила даже, не знаю, здесь редко показывалась, дом этот с детства не любила, и ко мне ни ногой. И я к ней. Хватит, надружились... и вообще...

Татьяна замолчала, скомкала измятую, истрепанную сигарету, смахнула табачные крошки в ладонь и высыпала в глиняную кружку.

– Что вообще?

– Вообще надо было помнить, что у ведьм подружек не бывает, они сами по себе.

«Сегодня свела знакомство с милым офицером. Он симпатичен мне уже тем, что не пытался читать стихи. Единственно удивляет, что нам не доводилось встречаться прежде, ведь Москва не так и велика. Его зовут (зачеркнуто)... нет, пожалуй, не буду изменять правилу, хватит и одной буквы – Л. Забавно, в алфавите Л. и Н. почти рядышком стоят. Н.Б.»

«Л. забавен, он так смотрит на меня, что это просто неприлично, хотя невероятно приятно. У него красивые глаза, да и форма ему идет. А еще серьезность, с которой он говорит о политике и необходимости реформ, о городах, в которых довелось побывать, – Вена, Лондон, Париж, Венеция... а я-то никуда дальше тетушкиной дачи в Подмосковье и не выезжала. Немного завидую, но все же мне нравятся его рассказы.

И матушка довольна, она полагает его хорошей партией, но я о замужестве пока не думаю. Завтра мы идем в оперетту. Н.Б.»

«Я влюблена, и это замечательно. Я как будто птица или бабочка, свободная и счастливая до того, что сердце порой сжимается в страхе, потому как подобное счастье не может быть долгим.

Вчера Л. поцеловал меня. И боязно, и нет желанья быть одной из тех барышень, которые с любой самой малой вольности готовы лишиться чувств.

Поцелуй – это большая вольность или нет? Матушка уверена, что у Л. – серьезные намерения, это успокаивает. Нет, он – благородный человек, я верю каждому слову, но все же... порой становится страшно. Н.Б.»

Марта

Высокий забор из темно-зеленых узких штакетин, заостренных сверху, и кованая, выкрашенная в солнечно-желтый цвет калитка, на которой висела перекошенная табличка «Колдовские сны». За забором начинались густые заросли кустарника, усыпанного мелкими розовыми цветочками, а дальше, за живой стеной, виднелись деревья и даже вроде бы угол дома.

Странное место.

Стоянка для автомобилей располагалась с другой стороны и была отделена от территории пансионата глухой бетонной стеной, пришлось обходить, благо тропа, выложенная красным выщербленным кирпичом, не позволила заблудиться. Правда, на калитке замок висел.

– Эй, есть тут кто? – Я подергала калитку, просунув руку между прутьев, потрогала замок, увесистый, тяжелый, скользкий. На пальцах остались темно-коричневые масляные пятна. – Эй!

Отдых начинался удачно. Везение продолжалось.

– Э-ге-гей! Откройте!

Положение более чем идиотское, а я ненавижу попадать в идиотские положения. И тут же стало смешно: Господи, что меня волнует? Мне жить осталось всего ничего, а я переживаю по поводу какой-то ерунды. И набрав воздуха в легкие, я заорала:

– Э-ге-ге-гей! Есть кто живой?!

– Чего орешь? – Из-за кустов выглянул дед, в одной руке он сжимал ножницы, в другой – перчатки. – Приезжая, что ль?

– Приезжая.

– Ну так упреждать надо... я им говорю, упреждайте, если кого ждете, а то ж... никогда, вот никогдашеньки никто ни словечка не скажет, а потом навроде тебя заявятся и жалиться начинают, дескать, закрыто... а где ж видано, чтоб открытыми ворота держать-то?

Ножницы и перчатки он сунул за пояс и, достав из кармана ключ, принялся возиться с замком. И ворчать не перестал. Станный человек из странного места. Белая всклокоченная борода, бандана в буро-зеленых разводах, мешковатые джинсы и байковая рубаша в клетку.

Калитка отворилась с тихим скрипом, и старик, махнув рукой куда-то вглубь, велел:

– По дорожке прямо иди, аккурат к администрации и выйдешь.

– Спасибо.

Он не ответил, отвернулся и, надев перчатки, возобновил прерванное занятие. Защелкали садовые ножницы, затрещали перерезаемые ветки, посыпались на землю рваные листья и мелкие розовые цветы, почти лишенные запаха.

Странное место.

– Значит, Викентий Павлович рекомендовал? – Валентина Степановна разглядывала меня с удивлением и некоторым сомнением. Сама она вполне вписывалась в перечень странностей этого места. Красива. Даже очень красивая. Этакая роковая брюнетка в возрасте «вечные слегка за тридцать», знойное очарование женского полдня, расплавленная карамель кожи, дегтярный кофе волос, влажноватые, поблескивающие непролитыми о разбитых сердцах слезами глаза и мягкие, мармеладные губы.

Ненавижу мармелад. И директриса мне не нравится. Директрисам положена монументальная солидность в стиле советского конструктивизма, тяжеловесность форм и строгость линий, костюма ли, прически либо растоптанных туфель на низком каблуке. А тут иное, совершенно иное.

– Посоветовал.

– Понимаете... – Она поднялась, вышла из-за стола и, одернув белоснежный, накрахмаленный до жесткости халат, на котором редкие складки виделись изломами, заговорила, глядя в глаза: – Видите ли, уважаемая Марта Константиновна, боюсь, что на сей раз Викентий Павлович совершил ошибку...

Тяжелые ресницы, тяжелые веки, радужная пыльца теней и легкие мазки подводки, придающие глазам некоторую восточную раскосость. Милая дамская ложь.

– Боюсь, вам у нас не понравится.

Мне уже не нравилось. Пасторальный пейзаж: цветущие деревья, жужжащие пчелы, поющие птички, пряничные домики с красными крышами и белыми стенами – слишком сладостно, слишком нарочито. Но дело не в этом, дело в Валентине Степановне, которой совершенно не хочется пускать меня в свой псевдосельский рай.

– Понимаете, у нас здесь публика... особая. У нас нет баров, ресторанов, дискотек... мы не задаемся целью развлечь клиентов. Как ни парадоксально звучит, но люди приезжают сюда отдохнуть от развлечений. Встретиться с собой, если хотите, вернуть себя, почувствовать иную жизнь.

– Значит, это то, что нужно. Я тоже хочу почувствовать жизнь.

Мармеладные губы расплылись в улыбке.

– Тогда... тогда придется ознакомить вас с некоторыми правилами. Во-первых, мы очень высоко ценим право клиентов на уединенность. Если кто-то из наших постояльцев начинает досаждать прочим, то, увы, нам приходится с ним распрощаться... деньги, естественно, не возвращаются. Во-вторых, мы не одобряем посторонних визитов – родственники, друзья и прочее, прочее, прочее. Люди обладают поразительной способностью мешать друг другу. В-третьих, мы бы просили избегать шумных развлечений. Из остального – полный пансион, возможно спецменю, столовая работает с семи утра и до одиннадцати вечера, график посещения свободный, любые ваши требования исполняются по согласованию с администрацией. Если условия устраивают, то... – Директриса взяла стопку листов, соединенных розовой скрепкой: – Это контракт на оказание услуг. Все оговоренные мной условия прописаны в нем, поэтому прошу ознакомиться и, если нет возражений, поставить свою подпись.

Ознакомляюсь я долго, исключительно чтобы позлить черноволосую стерву, но она не злилась, сидела себе за столом, подперев ладонью подбородок, разглядывала то ли меня, то ли окно.

А домик мне достался под номером тринадцать. Забавно.

Никита

Ну и захолустье! Хотя даже прикольно, если подумать, давненько он в таких вот совковых кантри-клабах не отдыхал. В последний раз, наверное, в Крыму, когда с мамкой на море по путевке в санаторий поехали. Когда ж это было? Давно, дьявольски давно, а будто бы в детство вернулся. Красная ковровая дорожка с зеленым бордюром, тяжелые шторы, тоже красные, точно из той же дорожки сшитые, массивный стол, кровать полутораспальная и покрывало на ней с кантиком, ну аккурат как в армии.

Хотя нет, от армии бог миловал, Бальчевский, ехидна, постоянно припоминает, дескать, с такой-то фамилией и откосить, ну да ну его, Бальчевского.

А пансионат все равно отстой, за такие бабки могли б чего и поуютнее предложить, а тут телика и того нету... все-таки свинство, какой отдых без телика?

И без бара.

Твою ж мать!

Нет, пить Никита не собирался, не для этого ехал, просто... просто в приличном номере приличного заведения полагается быть бару, упрятанному где-нибудь... вот, к примеру, в ящике стола.

Жуков выдвинул один, потом второй, но единственной добычей стал блокнот и карандашный огрызок. Ничего, тоже пригодятся, стихи писать. В шкафу бара тоже не нашлось, и в комод, и в стенах, которые Никита простукивал с особой тщательностью, звук везде получался одинаково глухим, зато костяшки заболели, а в одном из углов еще и на гвоздь угораздило напороться.

– Твою ж мать! – повторил Никита вслух, слизывая капельку крови. Стало чуть легче.

В дверь вежливо постучали. Горничная? Своевременно, нечего сказать.

– Войдите! – крикнул Никита и руку поцарапанную за спину спрятал. Потом подумал, что это совсем по-идиотски выглядит, и сунул в карман.

– Добрый день, рады приветствовать вас в пансионате «Колдовские сны», – глубоким грудным голосом промурлыкала горничная. Или не горничная? Нет, не горничная, больно уверенно держится, вон как вошла, руки в карманах халатика, походка модельная, подбородок задран, взгляд скучающий.

А сама ничего, гладенькая, сладенькая, с бесом в глазах. Брюнеточка, смугляночка... чего там еще из рифмы-то? Рифм больше не было, и Никита, привычно огорчившись, буркнул:

– И вам здрасте.

Краля величественно кивнула и, повернувшись на каблуках – теперь стал виден профиль, ничего, не хуже анфаса, хоть садись и рисуй, – продолжила приветственную речь:

– От имени администрации приношу свои извинения по поводу номера. Увы, в заказанном для вас домике, господин Жуков, случился небольшой... пожар.

– Печально.

– Очень, – она говорила, глядя снизу вверх, доверительно и приглашающе, так, что в висках забумкало, застучало. – А единственный номер, оказавшийся свободным, – этот. Вы не волнуйтесь, как только появится возможность, мы вас переселим. И разницу в цене, естественно, возместим.

– Хорошо. Ну, что возместите, хорошо. – Голова неожиданно закружилась. Прилечь надо, тогда все пройдет, он просто устал. Переутомился. И к воздуху чистому он непривычен.

– Значит, могу я считать, что это мелкое недоразумение улажено... полюбовно? – Темные глаза призывно блеснули. Или показалось?

– Улажено. – В конце концов, приходилось жить в номерах и похуже, а тут ничего вроде. Да и на пару дней всего, перетерпит как-нибудь.

– Благодарю вас за понимание, – она шагнула навстречу, оказавшись близко-близко. А халатик-то на двух пуговках только и держится, шпилечка в волосах, вытащи – распадутся, рассыплется тяжелой смоляной волной...

Духи у нее отвратные, липкие какие-то, на туалетную воду, которую Бальчевский использует, похожи, от их запаха тоже мутить начинает. Вот позору будет, если его сейчас на этот крахмаленный халатик вывернет...

Жуков отступил на шаг и налетел на стол.

– Осторожнее, – мурлыкнула администраторша, но ближе подходить, слава богу, не стала. Господи ты боже, это что с ним такое? Как беременную женщину, от запахов мутит.

Бальчевский сказал бы, что это от водяры, Бальчевский его алкашом считает, но Никита не алкаш, он просто устает. И бар в номере ему совсем не нужен. Вот разве что для порядку.

– А бар тут где?

– Бар? – Ровные дуги бровей приподнялись.

– Ну да, бар, пиво там, винчик, коньячок... я вообще-то непривередливый.

– Ах, бар, – она мило улыбнулась. – Боюсь, господин Жуков, вас неверно проинформировали. На территории санатория нет бара, да и распитие спиртных напитков не приветствуется. Желаю хорошего отдыха! Да и, господин Жуков, если вам что-то понадобится, кроме спиртного, то ресепшен – 101 или 102 по внутреннему.

И ушла.

Строчки, строчки, строчки, на тропинки похожи. Игла пробивает ткань быстро-быстро, значит, не больно, и выстраивает, вытягивает синюю цепочку шва.

– Калягина! – Вера Алексеевна возникла неожиданно, и снова смешно, она такая большая, толстая, неповоротливая, как у нее получается появляться «вдруг»? – Ты посмотри, что ты делаешь, а? Ты б головой своей посмотрела, что делаешь!

Смотрю, правда, не головой, а глазами, и расстраиваюсь. Ну вот, опять: по синей ткани морозными узорами расплзаются, переплетаясь друг с другом, швы.

– Дура ты, Калягина! – Вера Алексеевна отвесила подзатыльник. Не больно, совсем-совсем не больно, обидно только – в моей стране никто никогда никого не бьет.

– Сил на тебя никаких нету! – Она прижала руку к груди, вздохнула, стряхнула прилипшие к халату нитки – синие и белые и еще немного желтых, но не ярких, солнечных, а выцветших, бледных, точно состарившихся. – И кем ты, Калягина, будешь? Вот вырастешь, выйдешь отсюда и что, на шею государству сядешь?

Стрекот швейных машинок стих, Гальяка, поджав губы, покачала головой, у Гальки все строчки правильные, ровные, аккуратные, ее Вера Алексеевна всегда хвалит, а Людке вот за неаккуратность достается, но все равно меньше, чем мне.

– В Советском Союзе тунеядцам места нету! – Вера Алексеевна огляделась – все ли слушают. – Государство вам в руки профессию дает, а Калягина вот не желает на швейю учиться. Калягина у нас особенная, ей другого чего подавай!

Когда Вера Алексеевна так говорит, мне становится стыдно. Немного. Но потом я вспоминаю свою страну, ту, где вечером солнце засыпает в львиных лапах и никто не делает то, что ему не нравится.

Мне не нравится шить фартуки. Они одинаковые.

В моей стране каждая вещь особенная.

– Эх, Калягина, Калягина... – Вера Алексеевна качает головой и зачем-то добавляет: – В артистки тебе надо.

Станным образом ее то ли пожелание, то ли предсказание сбылось.

Мы ставим «Гамлета». Шекспир. Елена Павловна произносит эти слова с придыханием и глаза закатывает, словно пытаясь разглядеть на потолке нечто такое, особенное. Я тоже смотрю, но ничего не вижу, потолок как потолок, белый, вернее, выбеленный, но в углах уже потемневший, поплывший сырыми пятнами, которые, когда снова станут белить, будут закрашивать с особой тщательностью. По осени пятна все равно проступят, попортив толстый слой извести.

Но я не о пятнах хотела, а о Шекспире. Елена Павловна говорит, что Шекспир – это классика, а классику нужно понимать правильно, и рассказывает, что это значит. Я слушаю, и Галька, и Людка, которая быстро начинает скучать и позевывать тайком. Но как доходит до распределения ролей, ее сонливость моментально проходит. Людка мечтает сыграть Офелию и, конечно же, получает роль. Елена Павловна считает, что Людка для таких ролей и создана. А я немного завидую, мне тоже хочется быть Офелией, или Гамлетом, как Галька, а вместо этого мне достается королева. Елена Павловна говорит, что кто-то должен играть и отрицательные роли.

Елена Павловна требует показать всю глубину падения Гертруды, предавшей сына и мужа. Елена Павловна недовольна... у Людки получается, у Гальки тоже, а у меня нет. Это потому, что я не понимаю роли. Объясняют, а я все равно не понимаю.

– Калягина, Калягина. – Елена Павловна подымается с кресла, обмахиваясь веером из бело-черных листов. Белая бумага, черные буквы, одна за другой, как давешние строчки на синей ткани. – Калягина, ну подумай, какова твоя героиня, а?

У Елены Павловны строгие глаза и ресницы, слипшиеся друг с другом, подчеркнутые тушью «Ленинград» и оттого очень выразительные. Мне туши не положено, потому что я – не Офелия, Офелии нужно быть красивой, а у меня – отрицательный персонаж.

Еще от Елены Павловны пахнет «Красной Москвой»: терпкий-терпкий аромат, который отчего-то напоминает о недозревших яблоках в нашем саду. И о зеленых сливах с мягкими белыми косточками.

– Калягина, ты должна показать, что королева – жестокая самолюбивая женщина...

Почему жестокая? Не понимаю, опять не понимаю. Зачем жалеть Офелию, которая сама отказалась от жизни? Почему нельзя жалеть Гертруды? Она ведь просто хотела быть счастливой. Разве это запрещено?

В моей стране не будет несчастных людей.

– Смотри, Калягина, если мы провалим областной смотр... – Елена Павловна выразительно подымает брови, и Галька-Гамлет следует ее примеру. Только получается смешно – светлые и лохматые, Галькины брови уползают под синий бархат берета, а глаза становятся круглыми, выпученными, как у рыбы-телескопа.

– Так, девочки, – Елена Павловна громко хлопает в ладоши, – давайте с самого начала...

Декорации пахнут краской и растворителем, а еще немного деревом. Мне нравится вдыхать эти запахи, и смотреть, и гладить шероховатую, в капельках застывшей краски, поверхность. И представлять, что если бы на самом деле... если бы я на самом деле была Гертрудой, то... то никогда не допустила бы дуэли.

В кубке вода, но горькая, и кажется, будто и вправду яд, от него горло сдавливает и в глазах темнеет, и онемевшие губы теряют слова. Нельзя забывать роль, и я пытаюсь доиграть...

– Молодец, Калягина, ну хоть что-то. – Елена Павловна хлопает, вяло, но от этого звука наваждение исчезает, оставив во рту терпкий привкус яда. Как «Красная Москва», а вот на сливы и яблоки совсем даже не похоже.

Ночью долго не могу заснуть, все думаю о том, что это несправедливо – умирать за кого-то, и что Шекспир был очень злым. И несправедливым.

Никита

– Жорка, ты куда меня отправил? – Жуков старался не сорваться на крик. Пить хотелось, он пил, воду, минералку, сок, газировку, снова сок, квас... горничные уже, наверно, задолбались заказы исполнять, а ему все равно хотелось пить. А еще рвало, от всего, даже от воды. Точнее, особенно от воды. Один глоток – и выворачивает буквально наизнанку.

Страшно. И обидно. И знобит.

– Хорошее место, мне порекомендовали, аккурат для таких, как ты, психов придумано. – Бальчевский на том конце провода что-то смачно жевал, причавкивая и похрустывая. Скотина. – Посидишь пару недель, отдохнешь... заметь, дорогой мой, я мог бы засунуть тебя в клинику, где бы ты торчал не пару недель, а пару месяцев под неусыпным и заботливым присмотром врачей, оплаченных, заметь, твоими же бабками.

Склонившись над ванной – пришлось опереться рукой в стену, – Никита сплюнул, точнее, попытался сплюнуть, но вязкая нить слюны приклеилась к губе и повисла струной.

Струны у гитары, раньше он играл, хорошо играл... и на рояле тоже... но гитару он больше любит, она нежная.

– Тебя бы вывернули наружу, выкачали кровь, промыли б печень и остатки мозгов, а потом собрали бы все это назад. И возможно, конечно, в итоге получился бы человек.

Бальчевский до того увлекся, что даже чавкать перестал. Но какая же он все-таки скотина. Подохнуть бы, вот прямо тут, на коврике в ванной, он мягкий, прорезиненный, темно-синий с оранжевыми морскими звездами. Правда, места мало, но если калачиком свернуться... а накрыться полотенцем. Телефон выскальзывает. На пол его, вернее, на коврик и ухом прижать.

– Но я ж твой друг, Никуша. И как другу мне неприятно подобное насильственное лечение, как друг я понимаю, что ты – не алкоголик. Пока не алкоголик...

Жуков кивнул, и трубка выскользнула, отъехав по гладкой плитке в сторону, пришлось тянуться, а тянуться тяжело, от шевеления живот начинает опасно бурчать. Попытки с третьей трубкой удалось вернуть на прежнее место.

– ...тебе лишь нужно отдохнуть, побыть наедине с собой, поразмыслить о жизни. Ты талантлив, Никита, ты очень талантлив, так не будь же слабовольной падлой и найди в себе силы измениться!

Жуков снова кивнул. Найдет. Конечно, найдет. Попить бы чего. И поспать. И чтобы голова не болела и не тошнило больше.

– Жуков, ты меня вообще слушаешь? Или уже успел нажраться? Я же просил, чтобы никакой выпивки...

Никакой. Не надо выпивки. И Жорки не надо, ничего не надо, пусть все оставят в покое, дадут полежать на сине-оранжевом прорезиненном коврике. Как будто это море, в трубах за стеной шелестит вода, ванна-раковина на ножках-пирамидках, занавеска от сквозняка в вентиляции шевелится, гладит по щеке и волосам, ластится.

Закрыть телефон. И глаза тоже. И думать... о чем-нибудь приятном.

Я буду жить,
не знаю, для кого.
Быть может, просто чтобы видеть солнце.
Быть может, чтобы чувствовать тепло.
И снова быть,
и снова быть не против...

Строки рисовались на светло-бежевой плитке тонкими прожилочками, трещинками, словами, которые нужно записать, немедленно, пока не исчезли. А они тают, и сил нет подняться, и в голове пусто-пусто, значит, запомнить не получится.

Никогда у него не получалось запоминать. От обиды на ускользящие строки Никита заплакал.

«Л. сделал предложение. Зря я сомневалась в нем! Нет, не сомневалась, ни минутки, ни секундочки, это были всего-навсего пустые страхи. Колодезные сны, как говорила нянечка о ночных кошмарах. Не будет их больше.

Я счастлива.

Я всегда буду счастлива. Н.Б.».

Семен

Она появилась ближе к обеду. Разнервничавшийся Венька уже решил было сам отправиться в пансионат, чтобы допросить директрису и вообще всех допросить и призвать к порядку, и тут как раз она появилась. Семен собирал рассыпавшиеся по полу скрепки и поэтому сначала увидел красные, яркие-яркие, блестящие туфельки на высоком каблучке, узенькие ремешки, обнимающие щиколотки, потом – круглые коленки с ямочками, темную полосу – границу юбки...

– Ну и? Не надоело разглядывать? – осведомилась дама, усаживаясь на стул. Ногу на ногу закинула, но не пошло, а этак небрежно, и, кроме коленей, стало видно бедро в темной дымке колгот.

– Валентина Сергеевна?

– Степановна, – поправила дама. – Валентина Степановна Рещина, если быть точным. А вы?

– Вениамин Леонардович Шубин, – представился Венька и чуть покраснел, стесняясь. Такой застесняешься, теперь, поднявшись – вот ведь неловко получилось, – Семен получил возможность хорошенько разглядеть гостью. Хороша. Смуглокожая, темноволосая, ухоженная, упакованная в строгий костюм, чем-то на учительницу похожа. – Это Семен Андреевич.

– Очень приятно, – Валентина Степановна улыбнулась. – Если бы не повод, была бы совершеннейшим образом рада знакомству. Прошу простить за опоздание, все-таки пансионат – дело хлопотное, возникли непредвиденные проблемы.

– Но вы справились?

– Конечно. Разве есть у меня иные варианты?

– Вам виднее. – Венькина физиономия пылала румянцем, хоть прикуривай. Вот же, и не мальчишка ведь, а увидел – растаял.

– Вы ведь о Милочке поговорить хотите? – Валентина Степановна поставила сумочку-чемоданчик на колени, щелкнула замком, приоткрывая, и вытащила пачку сигарет. Как Семен и предполагал, пачка оказалась узкой и длинной. Дамской. – Бедная девочка... она и вправду утонула? Сама?

– Гм... пока мы не можем...

– Я могу, – неожиданно зло ответила директриса. – Сама бы она в воду не полезла! Никогда и ни за что! Она боялась воды, понимаете? Панически! Она даже ванну редко принимала, ей в душе было проще и приятнее.

– А вы откуда знаете? – Венька махнул рукой и указал на стул. Ну да, он же терпеть не может, когда кто-то над головою виснет. Стул Семен подвинул ближе к окошку, приоткрытое, оно баловало редким сквозняком, который шевелил бумажные листы на Венькином столе и широкие лопатообразные листья фикуса. Еще ветер приносил запахи – вязкий цветочный и густой, сытный колбасный из соседней закуской, пивной и хлебный. Пожрать бы, да пока Венька с этой цацой не наговорится, об обеде и мечтать нечего. Веньке-то хорошо, он мелкий, ему много не надо, а у Семена телосложение такое, что есть надо много и постоянно.

– Семен Андреевич, – ехидный Венькин голос прервал размышления. – Вы б записывали показания-то. Так, значит, с потерпевшей вы были хорошо знакомы?

– Очень хорошо. Мы были подругами. Бедная Людочка... – Дама всхлипнула, но как-то невыразительно. – Ее убили, и не отрицайте, убили.

– Кто?

– Откуда же я знаю. Это ваша работа – найти! Я просто уверена, что Людочка в жизни не полезла бы купаться! Воды она боялась! Чем вы слушаете?!

– Спокойнее, пожалуйста. – Семен бабских истерик не любил, особенно таких вот наигранных. Она что, совсем за идиотов их держит?

– А я спокойна. Я очень спокойна, я... – Дамочка, вспомнив наконец о сигаретах, которые по-прежнему держала в руке, вытащила одну из пачки. – Прикурить найдется? Или у вас тут не курят?

– Да нет, бога ради, – Венька подал зажигалку и пепельницу. – Но вам и вправду стоит взять себя в руки...

Она кивнула, закурила и, положив сумочку на стол, заговорила:

– Извините, нервы. Господи, Людочка и вправду была очень близким мне человеком. – Тонкие пальчики с зажатой сигаретой коснулись лба, и сизый дым показался вдруг седой прядью, выбившейся из прически.

– Понимаю.

Семен мысленно хмыкнул, ну да, он понимает. И они понимают, что дамочка боится чего-то, но рассказывать о том, чего именно, не станет, сочиняет на ходу, придумывает, выплетает ложь, из которой потом, позже, придется добывать крупницы правды. Ну или хотя бы того, что более-менее на правду похоже.

– С Людочкой мы познакомились на курсах по делопроизводству, господи, это так давно было, даже не верится, что было вообще! А курсы, самое интересное, дурацкие совершенно, сейчас-то понимаю, обыкновенное кидалово. Но корочки выдали настоящие, красненькие с золотыми буквами и круглой печатью. Людочка так радовалась!

– А вы? – Венька сложил руки на столе, голову опустил, смотрит исподлобья, только дамочка не простая, ее дешевым трюком не прошибешь, улыбнулась, на спинку стульчика откинулась и, стряхнув пепел с сигаретки, продолжила:

– А что я? Мне эти курсы, если разобраться, не особо и нужны были. Я – девушка устроенная... была устроенная. Замужняя... вот и на курсы пошла, потому как захотелось секретарем к мужу, правой рукой, помогать, советовать, вносить свой, так сказать, вклад. А там с Людочкой познакомилась. Господи, до чего светлый человек был! Добрая, отзывчивая, хрупкая вся... порядочная до кончиков ногтей.

За окном привычно завывала автосигнализация, залаяла собака, кто-то на кого-то крикнул, а Валентина Степановна, докурив, раздавила в пепельнице окурок.

– Но Людочка мне во многом помогла, кстати, наверное, именно благодаря ей я после смерти мужа не пополнила когорту обманутых дурочек. Людочке ведь делопроизводство постольку-поскольку, она экономикой интересовалась, ну и я следом. Не то чтоб сильно хотелось, но вдвоем-то интереснее... нет, диплома у меня нету. Мы только три курса проучились. А потом Лешик умер... Лешик – это муж мой.

Ее речь была плавной, мягкой, убаюкивающей, вилась, лилась причудливой арабской вязью, совсем как на том браслетике, который Машкина подруга из Турции привезла. Писать тяжело, поди-ка в этих закорючках словесных разберись.

А разбираться надо, потому как прав оказался Венька – убийство это, и отнюдь не потому, что потерпевшая воды боялась, а потому, что ее коктейлем из вина и снотворного накачали по самые, как говорится, уши, а потом в воду и сунули. Вот такая закорючка, вот такой сон колдовской.

– Вы не представляете, как тяжело мне тогда пришлось! Компаньоны насаждают, друзья наперебой советуют то одно, то другое, родственники понаехали наследство делить, господа, вспомню – вздрогну. Без Людочки я бы пропала.

Венька кивнул, но поторапливать не стал.

– Кое-что удалось отстоять, конечно, как на сегодняшний день, то больше вышло бы, но мы ведь неопытные были, экономисты-недоучки, теоретики... – Валентина Степановна вздохнула, плечики опустила и тут же поднялись. – С пансионатом тоже Людочкина идея.

Это она вспомнила, что возле ее деревни санаторий раньше был, купили, отремонтировали... поднимали вместе. Сначала клиентов приходилось искать, теперь вот только по рекомендации и принимаем. И снова Людочке спасибо!

— За что? Если можно, Валентина Степановна, то поточнее. Все ж таки дело серьезное. — Венька вымученно улыбнулся и, сунув два пальца за воротничок рубашки, оттянул, вдохнул глубоко и пояснил: — Жарко.

— Очень, — охотно поддержала директорша.

— Так что там с идеей-то? — Семену тоже было жарко, и спина чесалась, и шея, вчера обгоревшая, тоже, она уже и облезать начала.

— С идеей? А вы верно заметили, самое важное — это идея. Людочка придумала, сделала ставку на тишину... не на антураж, на атмосферу... Самое главное в нашем пансионате — покой, возможность существовать некоторое время как бы вне жизни. Понимаете, современный человек, особенно житель города, мегаполиса, ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно испытывает стресс, причем огромный. Работа, дом, общество, с которым необходимо взаимодействовать. А общество — это не только любимая жена и дети, это начальник на работе, хамоватая продавщица из магазина, соседи-алкоголики, давка в метро, взрывы, теракты, войны по телевизору, раздражение, накапливающееся постепенно, друзья, которым везет чуть больше, и тогда завидно, или чуть меньше, и тогда они жалуются на проблемы. Общество требует внимания, а порой людям нужно просто отдохнуть.

Красиво говорит, складно, только все равно непонятно, при чем тут потерпевшая и пансионат этот.

— Людочка предложила именно это — отдых. Абсолютная изоляция, добровольная, прошу заметить. Никакого телевидения, никакого радио, никакого шума, никаких внешних, травмирующих психику контактов. Нет, мы ничего не запрещаем, мы просто предоставляем возможность окунуться в тишину, вспомнить о красоте природы и ненадолго прервать замкнутый бег по кругу жизни... Колдовской сон о жизни. — Она запнулась, замолчала, потом как-то растерянно оглянулась, точно не в силах понять, как оказалась в этом странном месте. — Я... я, кажется, увлеклась? Вы простите, бывает, я люблю пансионат, это дело моей жизни... и Людочкиной тоже. А теперь вот Людочки нет.

— Знаешь, Семен, вот кажется мне, что дурит она нас. — Венька держал пластиковый стакан с пивом на вытянутой руке, ожидая, пока осядет пена. — Вот дурит же! Только въехать не могу, в чем!

Семен отвечать не стал, да и зачем, когда все ясно. Конечно, дурит, полдня псу под хвост, на сказки о чистой и светлой дружбе. Пиво, кстати, тоже было светлым, хотя Семен предпочитал темное, с плотной пеной и легким привкусом жженого сахара, который с каждым глотком ощущался четче, яснее. Хотя и это вроде ничего, хлебом свежим отдает.

Свободная скамейка нашлась почти сразу. Окруженная высокими лохматыми кустами, выходящая на узкую, выложенную плиткой дорожку, она выглядела относительно чистой. Венька выбрал место в тени, отмахнулся от назойливой осы, что выписывала кренделя над стаканом, уселся, вытянул ноги и, сняв ботинки, с удовольствием пошевелил пальцами.

— Чего? Ну жарко мне! И ты садись давай, кайф же...

Кайф. Тихо и спокойно. У сирени листья сердечками, одуряюще пахнут цветы, собранные в высокие грозди-свечи, на дорожке между круглыми чешуями плитки пробивается узкая зеленая щетка травы. Муравей ползет, и еще один, и целый муравьиный караван.

Действительно в кайф, не то что их с Венькой кабинет — четыре стены, два стола, шесть стульев, издыхающий комп и фикус с широкими пыльными листьями. Фикус Машка поливает, специально приходит два раза в неделю.

А бежевые Венькины носки черными пятнами пошли, от ботинок... мысли ленивыми рыбками бултыхались в аквариуме с пивом.

– Будешь? – Венка разодрал пакет с сухариками и аккуратно пристроил на скамейке. – С чесноком... нет, ну Семыч, ну я вообще не врубаюсь, какого фига она дифирамбы подруге пела?

– Из любви и благодарности. – Мелкие сухарики цеплять пальцами было неудобно, зато вкусно, особенно если слизывать ароматные соленые крошки. И пивом запивать. Мало взяли, надо было по два, придется, значит, опять к бочке тащиться.

– Две красивые бабы и дружба с благодарностью? Не-а, не верю! Покойницу нашу видел? Хороша. И эта тоже. Только постарше будет, много постарше. А значит, что?

– Что? – послушно спросил Семен, хотя в данный момент ему было глубочайше наплевать на всех баб, вместе взятых, быть может, кроме Машки.

– Конкуренция! Место под солнцем, выяснение, кто круче и сильнее! Вот что это значит! – Венка отхлебнул из бокала. – Не могут две такие крали под одной крышей ужиться, а если и бизнес общий, то все, кранты полные, или на бабках, или на мужиках, но на чем-то срезаться должны были.

– Тогда почему так и не сказать?

– А на фига? Чтоб ты или я с подозрениями пристали? Не-а, она умная, Валентина Степановна, поэтому и старательно внушала нам мысль, что без ее дорогой Людочки пансионат загнется. Вот смотри, работать начали вдвоем, так она сказала?

– Ну так.

– Но деньги были Рещиной, следовательно, ей и больший кусок. Сначала-то справедливо казалось, а потом, думаю, начались проблемы, вроде того, что Людочке Калягиной стало казаться, что прежние деньги подружка отбила и пора бы по-новому доходы разделить. Ну а директрисе, ясен пень, такая перепальцовка совсем не к месту. – Венка, нагнувшись, поскреб пятку. И ботинки поближе к скамейке придвинул. – Вот она подружку и пришила.

– Зачем? – Пива в бокале осталось едва ли на треть, и перспектива похода к ближайшей бочке становилась все более и более реальной, вот только двигаться было лень. Ну совершенно лень, запах сирени окутывал с головой, убаюкивал, успокаивал. Ну их всех, и потерпевших и преступников, один-то вечер в неделю Семен себе посвятит, имеет полное право. Еще б и Венка замолчал, стало б совсем хорошо. Но Венка, наоборот, в раж вошел.

– А затем, что... а допустим, покойная Калягина что-то узнала про подружку.

– Что?

– Ну... не знаю, финансовые махинации какие? Или вот, что Рещина мужа пришила...

– Не заговаривайся, Вень.

– Ладно, извини, – Венка огорченно вздохнул, похоже, теория с двойным убийством пришлась ему по вкусу. – Ну ладно, допустим, финансовые махинации? А что, если начинали вместе, то Людочка эта должна была в курсе всей бухгалтерии быть и вполне могла пригрозить, а Рещина испугаться.

– Могла, – согласился Семен.

– И я говорю. И посмотри, по ее словам выходит, что потерпевшая почти постоянно проживала на территории пансионата, так? От пансионата до реки недалеко, так?

Семен прикинул. Недалеко, если от реки, а от деревни выходит дальше. Почему они решили, что потерпевшая из деревни пришла? Потому что тело нашли у «деревенского» берега? Течением прибило. Нет, пожалуй, в Венкиных словах что-то да есть.

– И еще, Семыч, в деревне постороннего скоро бы заметили, очень скоро, там же любопытные все и друг друга знают. А с деревенскими Людочка не больно-то ладила, не настолько, чтоб пойти по бережку гулять. А вот в пансионате... директриса сама прокололась, когда сказала, что у них там любопытство не поощряется. Следовательно, кто бы туда ни пришел или ни ушел – постояльцы внимания не обратят. С одной стороны. А с другой – по этим же причинам гулять Людочке к берегу опять же не с кем, если только не с...

– Валентиной Степановной, – сказал Семен, допивая пиво.

– Точно! А теперь она мозги дурит!

Ветер дернул куст сирени, и плотные глянцевые листы зашелестели, зашуршали, точно обсуждая новость.

– И в пансионат этот съездить надо. – Венька, наклонившись, принялся обуваться. – Поглядеть, чем там они дышат. Покой, колдовство... хренотень это все полная. Но кто-то же ее на тот свет отправил, а?

В областном театре много людей. На рой мошек похожи, суеются, суеются, а чего – не понять. Мак толкут – так тетя говорила. Немного грустно оттого, что ее нету. У меня красивое платье, длинное, из темно-зеленой ткани, которую можно гладить, как кошку, по шерсти и против, тогда она меняет цвет, расходится темными полосами, будто за рукой тянется, норовя поймать. А еще платье кружевном украшено, желтым, точно золотым. На самом деле оно белое, но на уроке рисования мы с Зоей Михайловной раскрасили его гуашью, теперь, если потереть, то краска облезает мелкой желтой пылью, совсем как ромашковая пыльца, но все равно красиво.

Жаль, что тетя не видит. А может, видит? Вдруг приехала и там, внизу, в толпе, и тоже принесла цветы, или розовые воздушные шары, или зефир... прежде она всегда зефир приносила.

– Калягина! Вот ты где, – Елена Павловна больно хватает под локоть и тянет с балкона. – Нашла время баловаться, нам выступить скоро, готовиться надо. Ты слова не забыла?

Не забыла. Последний взгляд вниз – у женщины в красном платье платок на голове, тоже красный... тетя? Конечно, она! И становится радостно-радостно.

– Чего улыбаешься? Ох ты, горе наше... пошли гримироваться. – Елена Павловна тянет за собой в душный коридор, там тоже много людей, толкаются, спешат, ругаются сквозь зубы, точно ненавидят друг друга. Из-за чего?

– Ольсевцы? – девушка смотрит на Елену Павловну свысока. На девушке модная юбка-солнышко, и волосы уложены ровными барашиками. Смешная. А Елена Павловна вдруг теряет, заходится густым румянцем и робко отвечает:

– Да.

– Третьими будете, дакушевские не приехали, так что вы вместо них, – девушка делает пометку в блокнотике. – Смотрите не затягивайте...

Мимо с визгом проносится малышня, девушка, прижавшись к стене, хмурится еще больше и сквозь зубы повторяет:

– Дурдом.

– Простите, – Елена Павловна отпускает локоть. – А с декорациями как? Нам декорации установить...

– У нас свои, – отчего-то зло отвечает девушка.

– Но...

– Извините, мне некогда, – она поворачивается и уходит. Мне же становится вдруг обидно, не за себя – за Елену Павловну, и Зою Михайловну, и Веру Алексеевну, и за Гальку с Любкой, и за остальных тоже. Мы вместе ведь рисовали, а выходит, что зря?

– Елена Павловна, Елена Павловна, – я дергаю за рукав, заглядывая в черные-черные, обведенные кругами размазавшейся туши глаза. – Вы не огорчайтесь. Она глупая просто. И злая.

– Ох, Калягина, – Елена Павловна гладит по голове, правда, осторожно, стараясь не разрушить прическу. Зря, могла бы и разрушить, шпильки, невидимки, ленты – тяжело с этим всем. – Наивный ребенок... как же ты жить-то будешь, Калягина?

Не знаю. Как-нибудь. В моей стране все такие. Да и жить мне незачем, я ведь не Калягина, я ведь Гертруда, а Гертруде судьба умереть.

В чужих декорациях неудобно, они, наверное, красивые и лучшие, чем наши, но все равно неудобно. Гамлет растерян, путает реплики и теряется все больше, замолкая, запинаясь, спотыкаясь на каждом слове, и Офелия, растеряв очарование, гаснет. И мне тоже страшно.

Немного.

Занавес из света, будто черта, граница сцены, за которой начинается чернота. Там зал, бесконечные ряды кресел и люди. Свет не позволяет разглядеть лиц, но я знаю – они смотрят. Они сочувствуют поблекшей Офелии и потерявшемуся среди рисованных лабиринтов Гамлету. Или скучают, с нетерпением поглядывая на часы и шепотом задавая друг другу один и тот же вопрос: «Когда же?»

В моей стране никто никогда не скучает.

Голос Гальки не звенит – дребезжит, как провисшая струна в нашем рояле. Мне жаль ее. И Елену Павловну тоже, она расстроится и будет всю обратную дорогу вздыхать, молча глядя в окно, а Зоя Михайловна, наоборот, станет говорить, много, громко и нарочито бодро.

Фальшиво.

Почему тут все так фальшиво?

Офелия плачет, по-настоящему, вытирая слезы ладонями, размазывая тушь «Ленинград» и красную помаду. Офелия некрасива.

И очаровательна. Она такой и должна быть, беспомощно-безумной, испуганной и неспособной жить. И эта смерть закономерна.

"...кого хоронят? И так не по обряду? Видно, тот, кого несут, отчаянной рукой сам свою жизнь разрушил

... Чин погребенья был расширен нами насколько можно; смерть ее темна...»¹

Впервые думаю о смерти. Зачем? Ведь в моей стране никто никогда не умирает. И Шекспиру в ней нет места – он слишком жесток, он не позволяет героям быть счастливыми.

Но я попробую. Мгновенье радости для темной королевы... и снова яд в бокале. И снова страх, недолгий, мимолетный, а следом мысль, чуждая совершенно: может быть, так лучше? Уйти туда, где никогда не будет больно?

Аплодисменты.

Я живу? Ну да, я ведь не Гертруда, я – Берта Калягина. И наверное, опять что-то сделала не так, если Елена Павловна, выглядывая из-за кулис, качает головой. Вот только выражения лица не разглядеть – глаза слезятся, а во рту пересохло. И хочется убежать, спрятаться от шумной темноты, но Галька крепко держит за руку.

Ну да, конечно, я совсем забыла – поклон. Туфлей наступаю на подол платья, и он трещит. Не порвать бы, жалко, красивое, хоть и краска с кружева почти пооблезла, осела на ткани ромашковой пыльцой.

Елене Павловне подарили цветы и диплом, который мы повесили в актовом зале. А спустя неделю к нам приехали.

¹ Шекспир. «Гамлет», акт V.

Марта

Домик, в который меня определили, оказался весьма и весьма приличным. Спальня в атласно-голубых тонах, зал с камином, диваном, креслом-качалкой и медвежьей шкурой на полу, кабинет с уходящими в потолок книжными полками. Классика, классика и еще раз классика, солидные тома, солидные обложки, солидный слой пыли сверху. Понятно.

У медведя печальные глаза из темного стекла и пластмассовый нос, кресло скрипит или пол под креслом, клетчатый плед, скатанный валиком, букет белых роз в напольной вазе. Мило, уютно, странно.

Что я здесь делаю? Неужели и вправду собираюсь думать о жизни и приходить в согласие с собой? Чушь какая, да я всегда была в согласии с собой, ну или почти всегда...

А здесь и вправду спокойно, как-то по-особенному, так, что и словами не описать. Приглушенный, отфильтрованный розовым тюлем свет, запах дерева, полироли и цветов, стрекот кузнечиков, доносящийся из-за приоткрытого окна. Мир. Деревенская идиллия. Только мне в ней как-то неуютно, будто в сахарный сироп с головой нырнула.

И тут же подумалось, что голова-то прошла, в висках не стучит, не колет, не сжимает череп горячим обручем мигрени. Надолго ли? Не знаю, но эта внезапная передышка пугает. А еще непонятно, чем тут заниматься.

Чем занимаются люди, которым осталось три месяца жизни? Пишут мемуары и письма родным да близким? Родных у меня нет, близких тем более, бывший муж не в счет, с Варькой поссорились. Мемуары... а что мне писать? Родилась-училась-работала-умерла? Глупо как-то. И скучно. Ненавижу скучные книги.

День прошел в раздумьях, а вечером я познакомилась с Яшкой. Она пришла сама, в нарушение всех правил и условностей, даже постучать не соизволила, просто вошла, поставила на стол плетеную корзинку, прикрытую розовой салфеткой и, сев на медвежью шкуру, представилась:

– Меня Дарьей зовут, но вообще если для друзей, то Даша... Даша-Яша. Мальчишечье имя, правда?

Я кивнула, пожалуй, впервые в жизни я была слишком растеряна, чтобы найти с ответом.

– Но мне подходит. Гансик говорит, что я сама как мальчишка, но это из вредности. А тебя как зовут?

– Марта.

– Ма-а-арта, – протянула Яша, потом, склонив голову на острое плечико, повторила: – Марта-а-а... Не-а, тебе не идет. Имя соответствовать должно.

– А у меня, значит, не соответствует?

– Нет.

– Почему?

– Ну... – Яша задумалась, прикусив нижнюю губу. – Ты такая вот...

Она изобразила волнообразную фигуру.

– А имя такое, – Яша прочертила в воздухе жесткий квадрат. – А это неправильно, когда не соответствует, я буду звать тебя... Тата? Ты не против? Хотя даже если против, то все равно буду. Гансик говорит, что я упрямая, и жутко злится, когда я имена меняю. Будешь пирожки?

– Кто такой Гансик?

Странная девочка и вправду на мальчишку похожа. Острый подбородок, длинный нос, узкие губы и маленькие, широко расставленные глаза. А еще аккуратные ушки, светлые волосы, собранные в три куцых хвостика, и длинная шея с черной спиралью татуировки,

уходящей под ворот футболки. Сама футболка слишком большая, висит мятым мешком, а из широких рукавов торчат костистые локти. Левый ободран, правый – перебинтован.

– На роликах каталась, – Яша поскребла пленку засохшей крови. – А Гансик – это мой муж, правда, на самом деле его Юркой звать, но Ганс ему больше подходит.

– Понятно.

Девушка – явно сумасшедшая, остается надеяться, что не из буйных, впрочем, после тоскливого дня я была рада и такой компании.

– Так ты пирожки будешь? Мне Гансик привез. – Яша вздохнула и, почесав кончик носа, пояснила: – Он заботливый, только забывает, что я с грибами не ем, от них мысли пропадают. И видится все иначе. А если не съесть, Гансик обидится. И за маму тоже. Она пекла, а я не ем... попробуй.

Я попробовала. Пирожков в корзинке оказалась целая миска, заботливо укутанные тремя слоями полотенца и двумя – полиэтиленовых пакетов, они были теплыми и ароматными.

Есть жирное вредно для фигуры... а с другой стороны, на кой мне теперь фигура? На вкус пирожки оказались даже лучше, чем на вид.

– Спасибо! – сказала Яша и опять вздохнула, потом, подняв руку, дернула за хвостик. – Я рада, что ты приехала. Здесь все скучные и разговаривать не хотят. Я почти сразу хотела уехать, но Гансик попросил остаться.

– Зачем?

В корзинке нашлись и бумажные салфетки. Очень предусмотрительно, потому как испачканные жиром пальцы жутко раздражали.

– Ну... он думает, что здесь мне будет легче преодолеть кризис, – Яша виновато улыбнулась и обняла себя за плечи. – Он заботливый. Очень. Вот.

Она замолчала, насупилась, как-то вдруг сразу поблекла и, неловко поднявшись, заявила:

– Ну... я за корзинкой потом зайду, ладно? А ты на завтрак приходи, вместе сядем! Я тебя с Гансиком познакомлю...

Столовая – длинное, приземистое строение, отремонтированное, выкрашенное в раздражающе-яркие цвета, но между тем, против всякой логики, унылое, – размещалась у самого забора. Свет, проникавший внутрь, кое-как разбавлял общее впечатление серости, и даже пластмассовая монстера в углу выглядела почти как настоящая.

А людей немного, и это обстоятельство несказанно порадовало: заводить разговоры, зряшные, нужные лишь затем, чтоб «приличия соблюсти», не хотелось. Я себе даже столик присмотрела, в самом углу, куда свет не докатывался, весьма подходящее место, чтоб поразмыслить над жизнью, но увидела Дашу-Яшу, отчаянно машущую руками.

– Привет! – Дашка, улыбнувшись, подвинула тарелки и фарфоровую вазочку с пучком незабудок, освобождая место. – Это Ганс... то есть Юра. Юра, это Марта, мы вчера познакомились.

– Добрый день, – мы произнесли это одновременно и так же одновременно кивнули, приветствуя друг друга.

– Вы кто будете? – поинтересовался Юра и, оглянувшись на Дашу, пробурчал: – Прекрати баловаться, за столом нужно вести себя прилично.

Зануда. Редкостный. А по виду и не скажешь. Вид Дашиного мужа мне совершенно не нравился. Кустистые, сросшиеся над переносицей брови, резко очерченные скулы, широкий свернутый набок нос и белый шрам над губой – вылитый бандит, классический, типичный, до того типичный, что прямо смешно.

Молчание. Незабудки в вазочке подвяли, на салфетке темное пятно засохшей подливки, омлет подгорел... все-таки пансионат явно не пятизвездочный.

– У меня бизнес, – продолжил оборвавшийся было разговор Юра. Зачем? Какое мне дело до него и до его бизнеса? Но киваю, и Юра, ободренный, продолжает: – Деньги зарабатываю.

– Похвально.

– Дарья – художница. – Юра глядел исподлобья, недоверчиво, недружелюбно, почти с ненавистью. – Талантливая, – добавил он, глядя, как Яша сосредоточенно расколупывает булочку, вытаскивая черные изюмины. – У нее кризис. Творческий. Рисовать не хочет.

Яша не обернулась, только плечи опустились, и половинка булочки, выскользнув из рук, плюхнулась на колени.

– Сказали, что от перенапряжения. Отдыхать надо.

– Мне здесь не нравится. – Яша сгребла крошки, высыпала на пол и, отряхнув ладони, попросила: – Давай уедем, Ганс? Пожалуйста!

– Нельзя. Еще неделю надо.

– А я не хочу неделю! Я домой хочу! Домой! Я сбегу, я...

– Разведусь, – пригрозил Юра, подымаясь. – А вы не лезьте к ней, не мешайте, ясно? Ей врач прописал покой!

– Ненавижу! – Яшка швырнула в мужа булкой. – Ты злой, злой, злой! Ганс!

Она сложила руки домиком.

– Вот это ты! Вот!

Я ушла. Аппетит пропал, да и Яша с ее супругом стали вдруг невообразимо противны. Она своими странностями и инфантильностью, которую пытается выдать за оригинальность, он – тупостью и упрямством.

«Оказывается, разрушить счастье просто. Война. Снова война, ведь совсем недавно закончилась другая, та, страшная, с Японией, о которой нам так много и часто говорят. И вот снова? Выстрел в Сараеве, союзы и коалиции, Германия, Италия, Королевство Британское, Франция... я все пытаюсь понять, кто и из-за чего воюет, но не могу. И не хочу, знаю лишь, что эта война разрушает все мои планы.

Родители попросили Л. отложить свадьбу. Почему? Не понимаю, мы ведь любим друг друга! А матушка говорит страшные вещи, что его могут убить или покалечить, тогда мне придется коротать век вдовой или хуже того – женою инвалида.

Не хочу слушать, не буду! Я ведь люблю, имею право быть счастливой. Предложила обвенчаться тайком, а он отказался!

Унижение, испытанное мною, не описать словами, и пусть он говорил о том же, что и матушка, все одно я не могла избавиться от впечатления, что не любима. Для него любовь – игра, и война тоже игра, только интереснее. Н.Б.»

«Завтра он уезжает, а мы еще в ссоре, от этого нехорошо на сердце, томительно, и сны дурные снятся. Так вот кошек серых видела, с четверга на пятницу, а это ко всему, что сон вещий. Кошки же мяучили и на руки просились, а я не знала, какую взять, и плакала от расстройства.

Проснулась – и вправду плакала, но уже не из-за кошек, а потому что вспомнила – Л. уезжает. Н.Б.»

«Помирились и... нет, этого я не напишу даже в дневнике – стыдно. И радостно, потому что совершенное чудится залогом его любви куда более крепким, чем подаренный медальон. Н.Б.»

Никита

Больное утро. Темно-темно и холодно. Мышцы затекли, а под щекою мокро. И во рту сухо. Никита попытался вытянуться – ноги уперлись в стену, скользкую стену. Черт, черт, черт... он в ванной? Он так и заснул в ванной на полу, на коврикe? Как... как... как собака?

Ему было плохо. И сейчас тоже плохо, не так, как вчера, но все равно. Сил еле-еле хватило, чтобы в комнату переползти. Жуков плюхнулся на кровать, вытянул ноги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.